С. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ

Глухой приход



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

С. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ

Глухой приход

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1952

Printed in the U. S. A.



ГЛУХОЙ ПРИХОД

Трудно найти на свете место глуше Черновского поселка. Разбросавшись тридцатью избушками своими у подошвы красного глинистого бугра вдоль берегов речушки, пересыхавшей летом, поселок смотрел прямо на необъятную киргизскую степь, желтую летом, ярко-белую зимой, всегда пустынную. По ней и сто верст можно было проскакать, не встретив никакого жительства, кроме киргизских кибиток. За красным же бугром, в холмистой местности, тянувшейся до зеленоструйного Урала, не было станицы или поселка ближе сорока верст. Этой-то отдаленностью и объяснялось то странное обстоятельство, что в поселке с тридцатью дворами была собственная церковь. Сооружена она была попросту: к большой избе, поставленной у погоста, приспособили крошечную колокольню, повесили на колокольню игрушечный колокол.

И поплыл тоненький звон на простор степей.

Однако долго не удавалось заманить сюда священника или даже захудалого псаломщика. Если же псаломщики изредка появлялись, приходя пешком, с котомкой за плечами, голодные и злые, с указом консистории в кармане, то толку от них было мало: часы они служили по праздникам, но треб исправлять не могли. С крестинами, свадьбами, похоронами приходилось попрежнему ездить за сорок верст и терять по несколько суток. Да и псаломщики, прожив недели две, таинственно исчезали. Епископ Макарий, при котором и была разрешена к постройке церковь, многим молодым священникам предлагал поехать туда, хоть не надолго, «потрудиться во славу Божию», но, видя неохоту и испуг их, будучи человеком добрым и мяг-

ким, не настаивал. Когда же приехал строгий Виталий, он послал в черновский приход первого же провинившегося священника. С тех пор и утвердилась за приходом слава «ссылки». Иногда епископ даже прямо предлагал:

— В монастырь... или в черновский приход!

Каждый месяц в черновском приходе менялся причт. То приедет старенький священник с трясущимися руками, вдовый и несчастный, попьет без просыпу недели две и уедет во-свояси: пасть к ногам епископа и проситься в другое место. То явится новенький, только-что посвященный иерей, еще мальчик с виду, в сопровождении такой же молоденькой матушки, начнет заводить строгие порядки... а недельки через три ни от порядков, ни от него самого следа не останется. Случалось потом, что месяца по три, особенно летом, не находилось новой жертвы епископской строгости для посылки в черновский приход, и приход пустовал. Надо, однако, заметить, что населявшие приход казаки были народ добродушный и к духовенству уважительный, готовы были делиться с причтом всем, чем только могли, но... как выразился один старый дьякон, ухитрившийся прожить на приходе целых два месяца:

— Ежели по шкурке со двора взять, тридцать шкурок выйдет... а какая им цена?!

Другой дьякон был несчастнее этого.

Он проживал в черновском поселке уже полгода без всякой надежды перепроситься вскорости в другое место. Вместе со священником прежнего прихода он был под судом за повенчание жены от живого мужа: священника приговорили на год в монастырь, а дьякону предложили отправиться на псаломщицкую вакансию в черновский приход. Дьякон был семейный. Кроме веселой и черноглазой дьяконицы, у него был сын в духовном училище. Сам дьякон был человек плотный, высокий, громогласный, необыкновенно солидный и чрезвычайно рыжий. Он не ходил, а выступал

по приходу, хотя разойтись ему было совершенно негде.

Прихожане гордились дьяконом.

Полна церковь набиралась народу, когда дьякон служил часы. Голос его не умещался в церкви, просился на волю и гудящими отголосками уносился за окна, заглушая тоненькие звоны, отчего прихожане умиленно говорили:

— Не дьякон, а колокол!

Нарасхват звали дьякона, с дьяконицей, в гости, не знали: куда посадить и чем угостить.

— Отец дьякон! Мать дьяконица!

Усаживали на почетное место.

— Чайку, водочки... чем Бог послал!

Дьякон гудел.

— Мо-о-жно!

— Ватрушек, шанижек... может, яишенку соорудить?

Дьякон гудел.

— Похва-а-льно!

— Уж мы ведь так вас уважаем... и откуда нам вас таких Господь послал? Недавно мы киргизского барашка зарезали, а Миколаевна так вкусно умеет пельмешки делать... не состряпать ли?

Дьякон гудел.

— Добро-о зело!

И руководил пиром и беседой.

Он был искусник с серьезным видом рассказывать разные небылицы, от которых даже дьяконица, привыкшая к ним, покатывалась со смеху, прихожане же таяли и млели от удовольствия. Никогда нельзя было понять, когда дьякон говорит всурьез, когда шутит? Но от этого он только выигрывал в глазах прихожан, потому что они часто не верили его былям, но верили небылицам. Послушать дьякона, так он и с наказным атаманом дружбу водил и у архиерея был принят в качестве почетного гостя.

— А отчего? — вопрошал дьякон.

И указывал себе перстом на лоб.

— Ума палата!

Наказный атаман полюбил его, по словам дьякона, за то, что он развел на войсковых землях древонасаждение. В трех казачьих станицах служил, и такой лес развел, что раз наказной атаман-то ехал... да и заплутался. — Кто, говорит, это здесь такой лес развел? Дьякон Косоротов!

— Это я! — показывал на себя дьякон.

Заехал будто бы наказный-то к дьякону, и спрашивает: — как это вы, о. дьякон, такой лес развели? Сколько я своих казаков заставлял разводить леса, ничего не выходило... а вы заставили! А дьякон будто бы отвечал: — как случится бракоповенчание или другая важная треба, я первым долгом говорю: древо посади! Вот и насадили! С тех пор, как едет наказный через станицу, обязательно к дьякону заедет. И даже к себе в гости приглашал.

Прихожане замирали в чувстве почтительности.

— Ездили?

Дьякон солидно качал головой.

— Некогда было... не собрался.

Архиерей же, по словам дьякона, не мог и обойтись без него, — как чуть какое затруднение: — позвать Косоротова!

— Это я! — указывал на себя дьякон.

И советовался будто бы с ним владыка обо всяких мелочах: какого священника куда назначить и кого как наказать. Позовет в свои покои, распивает с дьяконом чаек и совещается. На недоуменный же вопрос прихожан: как всё-таки случилось, что дьякон за такое дело к ним попал и почему владыка его не защитил, а как будто даже и наказанию подверг? — дьякон непоколебимо ответствовал:

— Испытует!

— Испытание, значит?

— Да. Хочет посмотреть: как я из сего затруднения выйду, с честью ли? Глядите, он даже сюда и священника не шлет!

Аргумент был неоспоримый.

В самом деле, уже полгода дьякон, окруженный почетом, проживал в приходе, а за все время приехал сюда один только священник, да и тот немедленно впал в тоску и через три дня сбежал. Несмотря на всю сладость почета, дьякон стал весьма задумываться. Запасы были прожиты, а доходов не поступало. Да и какие же доходы, когда никаких треб не совершалось? Свадьбы на тройках с бубенчиками уносились в мглу степей — в другие приходы. Покойники на медлительных подводах проезжали мимо окон дьяконского дома, направляясь за сорок верст в поисках отпетия и наводя дьякона на грустные думы не только о тщете всего земного, но и о катящихся мимо дома его рублях и полтинниках. Что же оставалось? Сборы хлебом? Но дьякон обошел раз все тридцать дворов, и больше идти ему не захотелось, ибо, хотя все и подавали с удовольствием, набралось ровно восемнадцать пудов. Везти их продавать за сорок верст? Подводу нанимать?

— Вася, — говорила дьяконица, ибо дьякона звали Василием Ивановичем, — ведь скоро за сына платить...

Дьякон угрюмо гудел.

— Подожду-у-у-т!

Однако стал крепко задумываться.

Загнали его сюда, забыли его тут, сами в изобилии живут, а о нем и думушки мало. Они-то праведники? Грешнее он других, что ли? За что же должен претерпевать муку адскую раньше страшного суда Господня? Нет, должно быть, на их милость и надеяться нечего! Скоро отсюда и уехать не на что будет, придется с дьяконицей по полям пешком идти, а сына за спину посадить. Хоть бы какой захудалый поп приехал! Хоть бы малую толику денег раздобыть, да и уехать

отсюда во-свояси, пока зима не подошла да дороги снегом не завалило. Как быть? Что делать? Видно, уж только на одного себя и рассчитывать приходится... Что бы такое сообразить?

Дьяконица уж и поплакивать стала.

— Вася... Вася!

— Ну что еще тебе?

— Я скоро повешусь тут!

— Вешайся... сниму! — шутил дьякон.

Однако, уж и сам стал испытывать приливы диких мыслей. Томила его сила от бездеятельности. Хотелось горы ворочать, избушки перекидывать в молодецкой игре. А тут приходилось сидеть у окна целые дни, смотреть в желтую даль степей и распевать молебны для собственного удовольствия. Иногда дьякон не выдерживал. С яростью нахлобучивал широкополую шляпу, выходил за ворота, солидной поступью шествовал мимо изб по поселковой улице, а выбравшись за околицу на простор полей, шагал верстовыми шагами и бормотал угрюмые слова. Взбирался на курганы и с такими вибрациями орал на всю степь:

— Го-го-го-о-о-о!!! что взлетали галки из диких балок степных и в ужасе уносились на своих черных крыльях, суслики же и барсуки выползали из нор и с удивлением посвистывали.

В одну из таких прогулок дьякону пришла блестящая мысль.

Он вернулся возбужденный и веселый.

— Варюха-а-а!

И когда дьяконица прибежала со всех ног, распорядился.

— Ставь самовар!

— С чего такую рань?

— Сейчас гости будут!

Сам скрылся.

Вскорости к дьяконову дому ото всех изб поселка тянулись прихожане. Набралась полна горница почтен-

ных бородачей. Дьякон солидно распоряжался пиром. Угощал чаем. Водку же и закуску прихожане, по условию, принесли с собою сами. Все с любопытством ожидали: что скажет дьякон?

Дьякон солидно разгладил бороду.

— Друзья! — начал он.

Все притихли.

— Сколько у вас браков предполагается в это воскресенье?

Прихожане потолковали между собой, сосчитали по пальцам.

— Восемь, о. дьякон. Нынешний мясоед свадьбами обилен. У Митрюхиных, у Петровых свадьба, Хорек женится. Вдовуха Микулина тоже...

— А сколько вам у благочинного свадьба обходится?

— Двенадцать рубликов берут.

— С бедных и богатых?

— Не разбирают.

— А еще?

— Дьякону три рубля. В церковь рубль.

— А поездка во что обходится?

— Да в денежку! Худо-бедно пять целковых истратишь...

— Без угощения?

Угощение особо. Благочинному приходится бутылочку... да гуська. Дьякону бутылочку, да курочку. Псаломщику... Сторожу, чтобы церковь отворил.

— Та-а-к, — посмеивался дьякон, — стало быть, четвертная выскочит?

И он чему-то радовался, к удивлению прихожан и дьяконицы. Он даже весело потирал руки, продолжая спрашивать.

— А младенцев много накопилось?

— Дюжинка наберется, о. дьякон.

— Тоже в воскресенье повезут?

— Когда же больше!

— А сколько благочинный за крестины берет?

— Рублик!

— Только?

— А проезд сколько обходится! Худо-бедно два рубля!

Дьякон радовался.

— Хорошо... хорошо! Чудесно!

И вдруг нахмурился.

— А кобылки много на полях?

Прихожане совсем впали в недоуменье.

К чему человек разговор клонит, чего с младенцев, да свадеб к кобылке метнулся?

— Замучила, — однако же ответили они, — да и как ей не быть, когда за всё лето на полях молебствий не было! Ведь нынешний год даже и скот не освящен!

— Н-ну... хха-хха!

Дьякон рассмеялся.

Потом величественно поднялся над столом.

— Сколько мне дадите за каждую свадьбу?

На него смотрели в удивлении.

— По пятнадцать рублей дадите?

— О, дьякон... да что ты будешь делать?

— Повенчаю!!!

Прихожане впали в остолбенение, а дъяконица всплеснула руками и замерла. Она всегда думала, что у мужа ее ума палата, теперь же убедилась в этом больше прежнего, хотя еще и не понимала в чем дело.

А дьякон продолжал рассчитывать.

— За восемь свадеб сто двадцать рублей. И больше никаких расходов. Дальше. За дюжину младенцев двенадцать рублей. И никуда ехать не надо. Еще. Освящение скота? Восемь рублей. Полевой молебен? Десять. Итого сто пятдесят рублей. Не дорого?

— Чего бы дешевле...

— Дальше.

Дьякон достал бумагу и карандаш.

— Хождение по домам с иконами. Кто какие молебны служить будет? Отвечайте.

И принялся составлять список.

Любопытство прихожан разгоралось.

— Уж не хочешь ли ты, о. дьякон, откуда священника пригласить? — спросил старый казак, — ни за што за эти деньги такую даль не поедут. Всё равно присчитают, что ты пропустил. Да побоятся и у благочинного доход перебивать. А и согласятся... тебе ничего не останется!

— Двести! — подсчитал дьякон вместо ответа.

И с веселым видом выпрямился.

— Теперь слушайте мой приказ. До субботы эти деньги собрать! Положить к старосте в церковный ящик. Запечатать! К утру субботы что б была у меня тройка лучших коней! Кажется у старосты лучше всех?

— Можно! — сказал староста.

— И двое верховых!

Дьякон засмеялся, потирая руки.

Больше он ничего не захотел объяснять, несмотря на все расспросы. Прихожане разошлись взволнованные любопытством, в предчувствии чего-то необычайного. И слава дьякона разрослась еще больше: никто не сомневался, что для него всё возможно и что он сделает всё, что задумал. А что он задумал? — об этом шли бесконечные и волнующие толки. Деньги были собраны, положены в ящик и торжественно запечатаны. Походило, что дьякон держал пари и все прихожане были свидетелями.

Подошла нетерпеливо жданная суббота.

Утром тройка старостиных коней, с веселым звоном колокольчика, промчалась по поселку и бодрым скоком понеслась по степным дорогам по направлению к тракту. С увала на увал перематывалась тройка. За ней скакали верховые в пестрых рубахах, раздуваемых ветром. В повозке сидел дьякон со старостой. К задку повозки был крепко привязан короб с самоваром и

закусками. Староста тщетно пытался узнать: в какое такое путешествие собрался дьякон. Дьякон с задумчиво-веселым видом озирал степные просторы и отмалчивался. Только, когда проскакали тридцать верст, и вдали показались телеграфные столбы тракта, а за ними сверкающий плес Урала, дьякон, посмеиваясь, сказал:

— Вот здесь хорошую можно засаду устроить.

— Чего? — воззрился староста.

— Разве ты никогда, Иван Спиридоныч, в степи не служил?

— Бы-ы-л...

— На сартов засаду не устраивал?

— Случалось... да ты это к чему? — дивился староста, — на кого засаду устроить хочешь?

Дьякон взглянул победоносно.

— На попа!

И принялся хохотать.

На берегу реки, близ дороги, они постлали ковер, расставили на нем закуски, вскипятили самовар и принялись угощаться, коротая время разговорами. Уж было за полдень, знойно. Степь курилась. Широкий плес Урала был зеркально светел, то и дело по водной глади расходились круги от плеска крупной рыбы. По дороге тянулись подводы, проезжали купцы на станичные ярмарки, ползли с возами сена или хлеба казаки, поднимая тучи белой дорожной пыли. Дьякон задумчиво, из-под руки, то и дело высматривал даль дороги и, взглядывая на старосту, пожимал плечами. Уже они кончали второй самовар, как забрянчал колокольчик и из-за пригорка появилась пыльная повозка, влекомая парой взмыленных коней.

Дьякон вышел на дорогу.

— Стой! — сказал он, загораживая путь.

— Что случилось? — спросил ямщик.

— Застава!

Он подошел к повозке.

И чуть не отскочил.

Оттуда выглянуло на него знакомое, худое, сердитое лицо со щетинистыми усами и вздувшейся бородой.

Дьякон смутился, но тотчас оправился.

— Отцу благочинному, — прогудел он, — много лет здравствовать! Откуда и куда проезжать изволите?

Благочинный смотрел сердито.

— Черновский дьякон?

— Он самый.

— Чего ты тут делаешь? Зачем меня остановил?

Дьякон усмехнулся.

— Почтение засвидетельствовать!

Благочинный с недоумением смотрел на ковер с самоваром и закусками.

— Рыбу, что ли, ловишь?

Дьякон подмигнул.

— Перетяг поставил, карася выжидаю.

— Ну и жди, а меня не задерживай, я к службе тороплюсь.

И благочинный приказал ехать дальше.

Дьякон, посмеиваясь, вернулся к старосте.

— Попал карась, да не тот!

Прошло еще часа два.

На дороге показалась дребезжащая тележонка, клячей правил дремлющий казак, а в тележонке на сене сидел столетний старичок в зеленом подряснике. Дьякон остановил подводу, подошел к старичку, с недоуменьем оглядел его испещренный заплатами подрясник и маленькое сморщенное багровое лицо, как пухом покрытое белым волосом.

— Дьякон... или священник?

Старичок с трудом проговорил.

— С...вященн...ик!

Дьякон возрадовался

— Откуда?

— Из Б...огдановки.

— Куда ж едете?

— В г...ород, к епископу, просить, чтоб...бы снял запрещение.

Дьякон всплеснул руками.

— Под запрещеньем?!

— Д...да!

Дьякон смотрел с унынием: опять не то. И он дивился, что такой ветхий старичок под запрещением, хотя уже по нетвердому разговору его видел — отчего это. Он предложил ему отдохнуть и разделить трапезу. Старичок оживился и ответил на приглашение с охотою. Даже речь его на некоторое время получила связность. Однако вскоре же дьякону пришлось его уложить в телегу на сено и возница с миром тронулся дальше.

— Не везет! — говорил дьякон.

Уж солнце стало клониться к западу и дьякон с отчаянием поглядывал на дорогу, как вдруг из-за пригорка вынырнула высокая гнедая лошадь, запряженная в новенький тарантас, по городскому образцу, с крыльями. В тарантасе сидел молодой священник с сухим, неприятным лицом, озабоченным и сердитым. Он сверлящим взглядом посмотрел на дьякона, преградившего путь, и крикнул высоким, резким голосом.

— Что вам надо? Кто вы такой?

— Служитель Божий, — ответствовал дьякон.

— Посторонитесь с дороги!

— Не могу.

Духовный вспыхнул.

— Что за непристойные шутки!

— А мы шутки отбросим в сторону и серьезно поговорим. Из какого прихода будете?

— Вам что за дело?

— Потом объясню.

Духовный впивался в него взглядом.

— Странно, странно... Я Никольского поселка священник Поливанов, а вы кто такой?

— Я Черновского прихода дьякон Косоротов. Честь имею представиться.

Дьякон снял шляпу и солидно поклонился.

— Бонжур!

— Что такое, что такое?.. — кричал духовный в сердитом недоумении, — что̂ вы такое говорите? Зачем остановили? Я к службе тороплюсь. Что за знакомство на большой дороге! Какие ваши цели? Кабы не духовная одежда ваша, Бог знает, что подумать можно...

Он глядел уже с опаской на подходившего дьякона.

— Слезайте, — сказал спокойно и повелительно дьякон, — я вас давно поджидал. Имею секреты, от самого владыки исходящие. Поговорить надо.

Священник с ужасом смотрел на дьякона.

— От владыки? — еле выговорил он.

— Да, да. Слезайте!

Священник совсем растерялся.

Не спуская глаз с дьякона, он слез с тарантаса и покорно последовал к ковру с закусками. Необычайность обстановки, какие-то вести от владыки на большой дороге ошеломили его, потому что на совести его не всё было спокойно.

— Не по михайловскому ли делу? — спросил он шопотом.

Дьякон пытливо посмотрел на него.

И кратко ответил.

— Да.

Духовный весь сжался и стал тише воды.

Он с ужасом наблюдал, как дьякон отдавал какие-то распоряжения верховому и старался представить в растерявшемся уме своем: откуда появился этот таинственный дьякон и что за связь у него с епископом. Стало-быть, была погоня за ним и дело повернулось весьма серьезно? Он покорно принял из рук дьякона стакан с чаем, даже попытался пить его, хотя сейчас же и обжегся, но не подал виду. Робко наблюдал он за дьяконом, как тот солидно, не торопясь, наливал себе

чаю, и весь вздрогнул, когда дьякон громогласно рявкнул:

— Запрягать!

И дьякон солидно принялся за чаепитие.

Было тихо.

Река монотонно шумела на перекатах и всё плескалась в ней большая рыба. Солнце начало краснеть и опускаться к закату, бросая на степь багрянец. Звякали колокольчики, — староста с работником запрягали лошадей.

Духовный прервал молчание.

— В чем же дело?

Но едва он это произнес, как вскочил подобно ужаленному ядовитым змеем. По дороге клубилась белая пыль и в облаках этой пыли уносился в неведомую даль его тарантас под экскортом двух верховых. Растерявшийся духовный бросился за ним, но, увидя тотчас всю тщету своей погони, обернулся к дьякону с опрокинутым лицом.

— Что это значит?

— Это значит, — спокойно отвечал дьякон, — что ваш работник поехал в Никольское.

— Зачем?!

— С письмом к вашей матушке, что вы до понедельника не вернетесь.

Батюшка совсем растерялся и перепугался.

— Почему? — еле выговорил он.

— Потому что вы арестованы.

Дикая мысль простучала в голове священника: так значит это правда, это епископ послал за ним и сейчас повезут его на страшный владычный суд, не помогли никакие хлопоты... Ноги его подогнулись и он невольно оперся рукою о повозку.

А дьякон вежливо раскланялся.

— Извините, батюшка... но мера сия необходима. Мы в черновском приходе полгода живем без священника. Треб накопилось необразимое количество. Благо-

чинный же, заведующий приходом, не ездит туда. Другие священники опасаются благочинного. Путь к ним ко всем больше сорока верст, да и берут они сверх меры. Зачем же тогда и церковь в Черновском, рассудите. Вот мы и решили, на совете старейшин...

По мере того, как говорил дьякон, страх батюшки прошел, но зато ярость даже подняла волосы на голове его. Он сделал к дьякону несколько шагов, широких и несуразных, остановился, откинул руки, сжал их в кулаки, выпятил грудь.

— Ка-а-а-а-к! — закричал он, — обма-а-н! Похищение... на большой доро-о-ге?!

Дьякон развел руками.

— Необходимость.

— А секреты владыкины?

— В том и секреты его, что попа не дает.

Батюшка, в припадке ярости, схватился руками за голову и принялся отчаянно ругаться и грозить. Ругался он артистически, с употреблением славянских слов. Он грозил судом епископа, грозил жалобой губернатору, святейшему синоду, правительствующему сенату. Упоминал даже более высокие места. Наконец, исчерпав весь запас жупелов земных, обратился к небесным и стращал судом Божиим и муками ада. Дьякон спокойно и молча, скрестив руки, принимал на себя поток бешеных слов. Когда же были готовы лошади, он с поклоном указал на повозку.

— Пожалуйте, милости прошу.

Ничего не оставалось батюшке, как сесть, что он и сделал, продолжая ругаться. Он ругался всю дорогу, совершенно не смолкая, ругался до хрипоты в голосе. Очень это был сердитый и раздражительный человек. Он ругал дьякона, старосту, ямщика, перебирал всё начальство, которому будет жаловаться. Наконец, принялся корить лошадей за то, что плохо бегут, и повозку за ее тесноту и неудобство.

Дьякон молчал.

Ему казалось, что около него жужжит большая муха, попавшая в тенета, он дремал и просыпался от этого жужжанья. Надоело это ему страшно и, когда батюшка на минуту примолк, он сказал потихоньку:

— Ведь вы получите пятьдесят рублей... разве этого мало?

Батюшка продолжал ругаться, но уже значительно тише.

В два часа ночи отчаянный звон тонкоголосого колокола взбулгачил весь поселок. Собрались в церковь все, от мала до велика, словно в большой праздник, и с удивлением увидели сердитого священника, бродившего в облачении по церкви в сопровождении дьякона со свечей и яростно махавшего кадилом.

Служба продолжалась долго и торжественно.

Дьякон превзошел себя, произнося ектении в октаву и с раскатом. Даже стекла по временам отзывались. На литии он раздельно и ясно читал поминанья и произносил имена с таким чувством, что бабы плакали. Увлекся под конец службой и батюшка. У него оказался недурный голос. За обедней он, по совету и просьбе дьякона, произнес проповедь на тему о малом стаде, которому не надо бояться, ибо Христос всегда с ним. Обедня кончилась на рассвете и уже на обширной площади дожидались благословения стада коров, быков, лошадей, овец и десятка два верблюдов, подобно жирафам вытягивавших шеи.

Батюшка вышел на площадь.

Он уже смирился и во всем слушался дьякона. Терпеливо благословлял он и кропил святою водой мятущихся животных и звонким голосом пел призывы к святым. Потом пели по избам бесконечные молебны, со вздохом облегчения усаживались за столы, угощались, выпивали, и шли дальше уже более веселыми ногами. Наконец отправились в поля. И вернулись только вечером, усталые, но довольные. Прошли прямо в церковь. И, когда здесь, в присутствии всех прихожан, была

сломана печать на церковном ящике, пересчитаны и вручены дьякону деньги, а он в свою очередь отсчитал и вручил батюшке пятдесят рублей, батюшка даже расчувствовался и принялся пожимать руки дьякону.

— Забудем распрю свою!

Дьякон взглянул недоверчиво.

— А вы забудете?

— Конечно! — отвел батюшка глаза.

Но дьякон ему не поверил.

Он почтительно усадил его в ожидавшую подводу и долго в задумчивости смотрел ему вслед на клубившиеся столбы пыли.

— Фру-у-кт! — гудел он.

Через неделю дьякон прощался с приходом. Жалко было прихожанам отпускать его, да они понимали безвыходность положения.

— Уж мы такие несчастные! — говорили они.

Жалко было и дьякону расставаться.

— Будь я священником, не ушел бы... ведь мне немного надо.

— А зачем же дело?

Дьякон коснулся пальцем лба своего.

— Всем я хорош, одним не вышел: не имею образования... из простецов!

И он уехал.

...Он был уверен, что епископ наконец смилуется: не погибать же с голоду! А ведь он полгода терпел. Но по мере того, как он приближался к городу, уверенность его таяла и сменялась неопределенными опасениями, ибо видел он, что слава о похищении на большой дороге священника разбежалась уж чуть ли не по всей епархии. Иные прямо встречали его:

— Вот он... вот... похититель!

Иные же только рассказывали ему об удивительном приключении, не подозревая, что он и есть герой, ибо не знали имен.

Когда же дьякон вошел в архиерейскую приемную

и увидал выходящим с приема никольского священника, он почувствовал, что дело его плохо. С душевным трепетом вошел он в обширную залу пред лицо епископа.

Но, к удивлению его, строгий Виталий встретил его без гнева. Он только томительно долго смотрел в лицо ему, перебирая четки сухими, нервными пальцами. Потом о чем-то отдал распоряжение келейнику. Через минуту в зале появился никольский батюшка.

Епископ сказал ему со строгим спокойствием.

— Повтори свое обвинение!

Батюшка растерянно стал объяснять, как его остановили на большой дороге, обманули и похитили.

Епископ взглянул на дьякона.

— Объяснись!

Дьякон подробно и без утайки рассказал всё как было, свои мотивы и обстановку похищения. Епископ чуть-чуть улыбнулся. И вдруг набросился на священника:

— Пошел вон, ябедник! Я еще тебе припомню михайловское дело!

Священник побледнел.

И поспешил скрыться.

Епископ взглянул на дьякона.

— Хвалю за находчивость! — сказал он.

Дьякон расцвел.

— Перепрашиваться приехал?

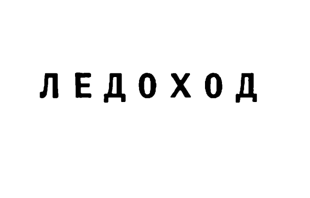
— Да, владыко. Трудно без священника.

— И тебе трудно, и прихожанам трудно, знаю. Хочешь исполнить просьбу своего епископа?

— Хочу, владыко!

— Поезжай туда священником!

Дьякон сделал круглые глаза, хотел что-то сказать, да не выговорилось... и с шумом повалился в ноги епископу.



ЛЕДОХОД

Три дня стоял мороз, заледенивший ручьи и потоки, покрывший серебром изморози черные проталины полей. Случилось так, что оттепель началась как раз в ту ночь, на утро которой благочинный Невзоров получил телеграмму о болезни жены. Немедленно он отправился к владыке и, с телеграммой в руках, просил архипастырского разрешения отлучиться до окончания съезда. К полудню благочинный уже скакал на ямских по туманным полям, полный тревожных мыслей о жене. Он досадовал, что в телеграмме ничего не сказано о том, что же такое с ней случилось? Последнее время она жаловалась на сердце, одышка какая-то странная была с ней временами. Он вспоминал пройденный об руку с нею жизненный путь... и тревога его разрасталась в страх перед каким-то неведомым несчастьем. Он торопил ямщиков, щедро давал на чай, чтобы быстрее перепрягали и веселее везли.

Между тем, дорога становилась всё труднее.

Уже на тридцатой версте пришлось сменить сани на тарантас, но ехать от этого было не лучше: дорога размякла, колеса глубоко уходили в грязь. Теплый туман быстро и весело съедал снег, снег с смеющимся шумом превращался в ручьи, в потоки, в звенящие по овражкам водопады. И к вечеру случилось то, что задержал только мороз. Уже до дома оставалось не более десятка верст: надо было только переехать реку, подняться в гору, а с горы уж виднелась церковь и длинная улица села. Так близко! Вот сквозь туман показалась и река.

— Скорей! — торопил благочинный.

Но ямщик и сам не дремал.

Вдруг над полями проплыл какой-то странный гул, словно чей-то глухой, подземный голос неясно произнес повелительное слово. И вслед за тем, немедленно, как бы повинуясь сигналу, пушечные выстрелы потрясли небо и землю, и перешли в долгий, быстрый, всё уходящий в даль ружейный треск.

Ямщик-татарин обернулся к благочинному и засмеялся, сверкнул белыми зубами.

— Кунсял река... сява делать будем?

Благочинный привстал в тарантасе и, с беспокойно бьющимся сердцем, наблюдал, как смутное какое-то движение поднималось на реке. И уж треск перешел в глухое, шумное, непрестанное шуршанье и звенящий, неумолкающий стон. Когда подъехали к реке, успели только увидеть, как унавоженная дорога через реку сломалась, раскололась, концы ее стали медленно отходить от берегов по направлению течения. А потом дорога как бы стала подниматься на дыбы, стонать и бесноваться. Льдины громоздились друг на друга, разрушались с грохотом, с шумливой и злою жалобой. А у берегов освободившиеся воды уже радостно волновались и рокотали, устремляясь на волю.

Благочинный растерянно огляделся.

Никого вокруг!

— Назад, бачка, гуляем! — засмеялся татарин.

— Мне нельзя назад, — вскричал благочинный, — мне нельзя! — повторил он, слезая с тарантаса на вязкую землю.

И скользя, почти падая, пошел к реке.

Длинный, худой, с худым лицом и остроконечной бородкой, он стоял над рекой и беспомощно смотрел на холмистую и лесную ее сторону, где так близко была его жена.

— Господи... что же делать? — вскричал он, — нет ли тут где перевоза?

— Ка-а-куй перевоз! — удивленно взглянул татарин, равнодушно стоя у подводы, — шалтай-балтай

никиряк, — засмеялся он, — через три дня паром гуляем, а теперь к нам аул айда... печкам лежи.

— Нет, нет!

И благочинный подошел к самому берегу, как бы в тайной надежде, что ему удастся перебраться по льдинам. Но перед ним всё крутилось, ломалось, двигалось, вздымалось и с треском падало, — даже голова закружилась у него от этого хаотического движения, и на миг ему показалось, что он и сам крутится и уносится вместе с рекой, льдом и туманом. С отчаянием смотрел он на тот берег, на недоступные холмы, высматривал: не увидит ли кого, чтобы хоть подать сигнал. Но берега были немы, пустынны, почти скрыты сгущавшимся туманом.

И уж над рекой спускалась ночь...

Внезапно благочинный встрепенулся: где-то вблизи, за туманом, послышался человеческий голос.

Благочинный прислушался.

Кто-то шел там, в тумане, приближался, и уж ясно было, что этот «кто-то» поет и вперемежку разговаривает с кем-то, кто ему не отвечает.

Благочинный уже разбирал и слова:

Ты живи-ка, мужик, так:
Ходи в церковь, да в кабак,
Не ходи, мужик, на сход,
Не мути честной народ!

Из тумана постепенно выявлялась фигура человека быстро шагавшего вдоль берега и распевавшего беспечно и весело.

А за то, что галдел,
Два годочка отсидел.

Фигурка была маленькая, тщедушная, но проворная. Разговаривала она, очевидно, сама с собой, ибо около нее никого другого не было. Вблизи она оказалась мужиком совсем небольшого роста, с маленьким личиком, густо обросшим красным волосом.

— Эге-е, — весело закричал он, — да тут православные!

Встал около тарантаса.

— Ночевать думаете? Ничего, место хорошее... сыровато будто? А ведь это никак...

Он присмотрелся из-под руки.

— Никифоровский благочинный?

— Я, друг... я!..

— Здравия желаем!

Мужик сказал это открыто и весело, но шапки не снял, под благословение не подошел... и благочинный это отметил.

— Ты кто такой? — спросил он слегка сурово.

— Да здешний-тутошний.

— Какого прихода?

— Деревенского.

— Зовут-то как, спрашиваю?

— Человек Божий, обшитый кожей... как ни назови, только по-ласковей будь!

Благочинный совсем нахмурился.

— Чего зря болтаешь языком-то? Нехорошо это... нехорошо! Ведь с отцом духовным говоришь! Ты бы вот лучше помог... Видишь, дом близко, а попасть не могу.

— Попу домой не попасть... вот так штука! — весело засмеялся мужик, — а сколько вы мне, отец, за эту требу дадите? Через лед-то проводить, не младенца окрестить!

— Сколько хочешь бери грубиян и корыстолюбец! — взволнованно и резко крикнул благочинный, — пойми... у меня там жена... матушка больна... может быть при смерти! А я...

— Жона?

Мужик вдруг переменил тон.

— Матушка больна? — переспросил он уже потихоньку.

На минуту он задумался, как бы прислушиваясь к

треску и шороху реки, и внезапным, решительным жестом указал благочинному на тарантас.

— Айда, садись!

Просить не надо было.

Через минуту тарантас тащился вдоль берега реки, а мужик шел возле, как бы попрыгивая и шевеля всеми частями тела, и говорил опять весело.

— Слышь-ка ты... Абдарахман... пошевеливай! Одно местечко я тут знаю... я ведь тутошний. Не бойся, батюшка, — подмигнул он лукаво благочинному, — уж к матушке предоставлю вас! Не будь я...

Он замолчал.

— Кто ты такой? — опять спросил благочинный, смотря исподлобья.

— Я-то?

Мужик засмеялся.

— Дух!

— Какой дух?

— Вездесущий. В склянке сидел, — пробку вышиб, под замком был, — в щелку вылез. А вы, батюшка, ни о чем не спрашивай... что надо само окажется. Абы к матушке доставил! Я вот лучше вас спрошу: о. Василия знаете?

— Курычанского что-ли?

— Его самого.

— Знаю. А ты курычанский, стало-быть?

— Нет, я... таковский! Где был, позабыл, где буду, — неведомо. А вот только спрошу вас еще: правду говорят, будто на том свете есть сковороды горячие?

Благочинный с любопытством смотрел на него.

— Это образное выражение, — сказал он.

— Ну, как ни выражайся, а сидеть, стало, быть, придется. О. Василию первому! Увидите его, батюшка, скажите: шел, мол, мужик по дороге, и всякого ему добра желал. И от других, мол, таких же, поклон переслал, чтобы помнил, не забывал, денно и нощно!

Уж когда-нибудь, мол, ему тот поклон на том свете аукнется... да може и на этом еще даром не пройдет!

— За что же? — тихо спросил благочинный.

С внезапной вспышкой злобы мужик проговорил:

— За то, что нос собачий, глаза кошачьи, в темноте видят... и сердце черное!

Он отвернулся и стал из-под руки всматриваться в сгустившийся над рекою туман. Благочинный смотрел на его маленькую, прыгающую, быструю фигурку, и любопытство его невольно всё росло.

— Домой идешь?

— Ай-яй... какой, батюшка, любопытный, — с усмешкой взглянул мужик, — слыхал я про вас хорошее... ну, уж скажу: на побывку иду. Как кумарь! Вокруг дупля полетаю, на родимых детушек посмотрю, супругу свою крепко к сердцу прижму... да опять в лес.

— А где... был? — уже хмуро спросил благочинный.

Мужик весело засмеялся и вскричал с ухарством:

— В петле был... да веревка оборвалась!

И он принялся орать:

— Сто-о-й... тпр-р-рр...

Остановились у густого лозняка, черного и влажного от осадков тумана. По времени было бы темно, но вверху таинственно мутное пятно обличало место, где за туманом в небе крылась полная луна, и пропитанный светом ее туман казался волшебным покровом, густо наброшенным на волнующуюся, жутко шумящую реку и берега ее. Мужик скрылся в лозняке, ворочался там, что-то ломал, разговаривая сам с собой. Благочинный присматривался к реке и почему-то лес, мрачно темневший по ту ее сторону, казался ему ближе, чем раньше, а сердитый, глухой шум льдин, как бы затихал в этом месте. Но места этого благочинный совершенно не узнавал. Только присмотревшись, вспомнил, что река тут делала крутой поворот и с той ее стороны далеко в воду вдавалась отмель. Он терпеливо ожидал мужика,

почему-то внутренно совершенно вверившись ему. И когда тот появился с палками в руках и, протягивая ему одну из них, сказал:

— Пойдем, отец!

он покорно вылез из тарантаса, ни о чем больше не расспрашивая, приказал татарину уезжать, если они перейдут реку, и пошел вслед за мужиком. Было мокро, вязко, берег глинистый. Калоши благочинного хлюпали, и ему приходилось растопыривать руки, чтобы соблюсти равновесие, отчего он казался странной черной птицей. А мужик как бы попрыгивал впереди него, крепко и уверенно опираясь на палку. Берег был крут и обрывался, но почти вровень с берегом напластовался тут лед, целые горы вздымавшихся наслоений, сумрачно блестевших в туманном отсвете луны. Пласты эти были как бы в непрестанном движении, в глухой борьбе между собой, в злой, упорной схватке.

— Этта смотрите, отец, — сказал мужик, указывая перед собою палкой, — косичка там песчанная, лед-то она задерживает, его сюда к бережку и прибивает. Бог даст, как по мосту перейдем!

Он обернулся, сверкнул глазами.

— За мной! За плечо держись... да не бойся!

И даже как-будто вырос, показалось благочинному.

Они пошли как по гребню горы.

Мужик отбрасывал изломанную тень на изгибы льда, а тень благочинного убегала еще дальше, уходя головой в кишащие водовороты. Благочинный в страхе схватил мужика за плечо: ему казалось, что под ногами его всё движется, колышется, ежеминутно готовое поглотить его. Вправо и влево от себя, по реке, он видел хаотический круговорот, битву льдин, вздымавшихся и нырявших, от реки шел как бы фосфорический блеск, и подобно блуждающим огням там и сям вспыхивали и гасли серебристые блики. И казалось ему странным, что еще держится этот колеблющийся мост, по которому они шли среди шума, треска и глухих, шуршащих вздо-

хов. Местами льдины стояли торчмя, через них приходилось перелезать, а они ворчали и колыхались, осыпаясь и обнажая под собой черную кипящую глубину. Благочинный боялся смотреть вокруг себя, ему казалось, что он не идет, а уносится вместе со льдом, крутится, падает... Но мужиково плечо было под его рукой.

— Только бы середку перейти, — тихо говорил мужик, — только бы раньше время не прорвало...

И едва он это сказал, как грохот наполнил воздух, оглушил их, под их ногами лед вздрогнул, заколыхался, пополз. Мужик, ухватив благочинного за рукав, скачками бросился вперед. Позади них образовался ревущий прорыв, в который с адским шумом устремились застоявшиеся льдины, дробясь в куски, в осколки. Калоши благочинного скользнули, он не удержался, упал и пополз куда-то вниз, замерев от ужаса... хватался руками за скользкие края. Но мужик немедленно бросился на брюхо и успел схватить его за ворот.

— Погоди малость, — смеялся он, — куда торопишься!

Помог ему вылезть.

Благочинныйй вздохнул, оглянулся и мир показался ему сном. Он видел, что уносится вместе с кишащим льдом в тусклое желтое пространство и, с тоскою взглянув вверх на туманное пятно, мысленно простился с попадьей.

Но мужик весело сказал:

— Успели!

И благочинный увидел, что он вовсе не плывет, а, напротив, берег очень близко, только вокруг всё с шумящим ревом уносится, и от гребня ледяной горы, по которой они только что шли, не осталось и следа. И он вздохнул еще раз. И тут же с удивлением увидел, что мужик сидит у его ног и разувается. Он хотел было спросить, зачем он это делает, но взглянул к берегу и понял. Мужик встал, спрятал в мешок сапоги, засучил

выше колен штаны, ощупал палкою глубину воды, спрыгнул туда и подставил благочинному плечи.

— Садись скорей!

Благочинный не заставил себя просить.

Через минуту они были на берегу.

И опять благочинный стоял и с сонным удивлением смотрел на бушующую реку, на тусклое пятно месяца и на сидящего у ног его мужика, который быстро-быстро торопясь, обувался.

— Как тебя зовут? — потихоньку спросил он еще раз.

— А зачем вам знать?

— Имя твое в молитве помянуть.

— А може я и в Бога-то не верю?

Мужик встал и засмеялся.

— Поговорка есть такая: прощай, Макар, ноги озябли. До свиданья, батюшка... через горку-то и один дойдете.

Он мотнул головой и пошел в сторону.

— Стой, стой! — вдруг как бы проснулся благочинный, — а за труды-то... возьми, иди.

Мужик обернулся с веселой улыбкой:

— Матушке поклон!

И зашагал дальше вдоль берега, притаптывая ногами. Благочинный молча, неподвижно, с недоумением смотрел ему вслед, пока он не растаял в тумане...



ДЬЯКОН И СМЕРТЬ

I

Когда у павловского дьякона, Макара Иваныча, заболела жена, ему самому пришлось стряпать обед, ходить за птицей и доить корову. Жена, женщина крупная, соответственно и хозяйственные предметы любила большие и тяжелые. Дьякон же, человек маленький, красноносый и лысый, едва управлялся с горшками и ухватами.

Помогало только самолюбие.

— Бабье дело — да не сделать!

Он сновал и суетился между жбанами, горшками и корчагами, с круглыми очками на носу, как алхимик или добрый волшебник, разговаривал с ними, как с друзьями или врагами, — смотря по обстоятельствам, впрочем, одинаково добродушно.

— Лезь, лезь, злодей... во имя Господне, — говорил он горшку со щами, поталкивая его в печь.

Потный, красный, в потерявшем цвет подряснике, он самодовольно смотрел в жерло печки, опираясь на ухват, как воин на пику, и благосклонно советовал горшку:

— Кипи во славу Божию!

Но щи закипели совсем не во-время, в печи поднимался шум и треск... дьяконица стонала за перегородкой, причитая жалобно. Окруженный тучею мух, дьякон метался у печи и, призывая на помощь всех святых, сражался с ухватами. Но тяжелый горшок только колыхался в печи, расплескивался, случалось, и опрокидывался, — пока однажды дьякон не додумался подложить под ухват скалку и, таким образом, извлек горшок из

печи на-весу. Этим он долго хвастал перед дьяконицей, воздавая хвалу преимуществу мужского ума перед женским, но никогда не забывал смиренно добавлять:

— Думаешь: совсем человек пропал... а Господь-то и надоумил! Слышу, как бы шепчет кто-то на ухо: — подложи скалочку...

С коровой было много труднее. Черная, без отметинки, нрава строптивого, она при одном виде дьякона приходила в негодование, не стояла на месте, брыкалась и яростно мычала, точно ей наносили оскорбление! Напрасно дьякон перебирал все милые слова и вспоминал знакомых святых.

— Ну, стой, милая... ну, во имя Божие! Утиши тя Микола угодник. Сто-о-й, стерва!

Попадало и в бок дьякону, и в подойник. Тогда дьякон пустился на хитрости и, полагая, что корову смущает подрясник, надел женино платье и по-бабьи повязался платочком. Корова, хотя и оглядывалась подозрительно и с недоумением, но стояла спокойнее. А дьякон про себя посмеивался:

— Перехитрил во славу Божию!

Усталый, но торжествующий, приносил он жене парного молока и говорил:

— Собственноручного удою... испей-ка во здравьице!

Дьяконица лежала в чулане, где было темно и прохладнее, чем в комнатах. Она возвышалась на постели большой и тяжелой, неповоротливой тушей, могла двигать только руками и головой: всё остальное распухло, налилось, надулось; ноги были как два тяжелых бревна, долго пролежавших в болоте. Дьяконица ясно представляла свое положение, и оттого лицо у нее было всегда серьезное, как бы погруженное в думу, но речь спокойная.

— На кончике света держусь, — говорила она, — вот до сердца дойдет... и преставлюсь.

Но дьякон горячо протестовал:

— Не бойся, старуха. Еще поживем во славу Божию!

— Да я не боюсь. Тебя, дурака, жалко оставлять. А кто смерти боится, и в рай не попадет...

— Я хитрый! — бахвалился дьякон.

И утешительно подмигивал дьяконице:

— Погоди, я и смерть перехитрю!

Однако беспокойство его с каждым днем росло. Иногда он впадал в отчаяние, уходил в клеть и там, уткнувшись лицом в сено, плакал и говорил Богу жалостливые слова. Когда же слова и слезы иссякали, он шел на речку, бултыхался в воде, подобно тюленю, и орал на всю окрестность:

— Го-го-го-о... вот так холодок, во славу Божию!

И возвращался к дьяконице веселый, пытался забавлять ее тяжеловесными шутками, необыкновенно довольный, когда она чуть-чуть улыбалась. Ночью же он беспокойно ворочался, не спал и всё думал, всё думал об одном и том же: как помочь дьяконице? О фельдшере нечего и думать... больница за сорок верст, своей лошади нет, соседские в работе. Да и не поедет фельдшер даром, а денег нет! А денег-то, худо-бедно, на фельдшера да на лекарства... рублей пять надо! На пять рублей птицы не наберется, да и ту еще на базар везти. Корову продать... всё питание!

— Хоть бы помер кто! — шептал дьякон.

И пугливо спохватился.

— Прости, Господи... что это я, как обмолвился! Нет, уж лучше пусть родится кто, во славу Божию. Хоть доходу и поменьше, зато в прихожанах прирост. А впрочем... вот к слову сказать про Масленникова. Зря человек на свете зажился. Ведь так человек на людской бедноте отъелся, что в брюхе червь завелся. Конечно, и червю надо питаться, — тварь Божия... а человек-от мается! Всё бы нам, глядишь, сорокоуст заказали. Да и похороны-то... доход на целый год! Можно бы самого

доктора на ямских прикатить. Но всё это были только мечты.

Павловский приход состоял из тридцати дворов, — много ли с них за год доходу соберешь? А дьякону, на псаломщицкой вакансии, всего только четвертая часть приходится... Священников сюда не назначали, а просто ссылали за разные провинности, или молоденьких посылали для практики, в ожидании лучшего прихода. И жили они здесь по месяцу, по два, а в остальное время дьякон являлся единственным представителем местного духовенства: служил часы, утреню, вечерню, поминал покойников, читал акафисты, сам трезвонил по праздникам на колокольне молитвенного дома; для совершения же крестин, похорон и других треб по воскресеньям приезжал соседний батюшка. Дьякон прожил в этом приходе уже восемь лет, и за это время перед ним прошло, по крайней мере, тридцать священников. Все они здесь страшно скучали и развлекались только повествованиями дьякона.

А дьякон любил вспомнить старину. Когда-то он был сапожником в городе, очень искусным в своем ремесле, работал на купцов и господ военных.

— По парисской моде мог, — хвалился он, — раз даже на губернаторшу полусапожки сделал, с выкрутасами, так очень даже довольна осталась. А городской голова, покойник Павел Степаныч, царство ему небесное, жить без меня не мог, потому — нога у него вся в мозолях... не сапог надо было шить, — произведение, можно сказать, с кондибобером, с клопштосом... Для каждой мозольки особый домик! Так бывало, как наденет мою-то работку, вздохнет и скажет: — «без тебя бы, Макар Иваныч, погибель моя»... Он-то меня и в хор устроил.

По воскресеньям Макар Иваныч пел в любительском хоре, и очень понравился владыке за свой отличный тенор, когда однажды владыка служил в слободском храме в день престола Казанской Божией Матери.

Владыка пригласил его в свой хор. Макар Иваныч стал архиерейским любимцем. Макар Иваныч был на высоте славы и почета. Макара Иваныча приглашали на купеческие свадьбы. Его брал владыка с собою по епархии. Дьякон радостно смеялся, вспоминая всё это.

— Макар Иваныч туда! Макар Иваныч сюда!

Работу свою, к неудовольствию жены, он забросил совершенно. Его окружали друзья с басами и октавами, водили его по трактирам, вόскуряли перед ним фимиам и советовали поступить на сцену.

— Та-ал-лант, — рычали октавы.

А басы хором гудели:

— Валяй, брат... ей-Богу! Вон Миловзоров, тоже из наших архиерейских, какие в оперетке деньжищи загребает!

Октавы слегка протестовали:

— Фиг-гур-р-а у того, положим...

— А чем у Макара Иваныча не фигура? Только каблуки повыше сделать... А он сам мастер. За люлималину короля изобразит!

Октавы рычали:

— К Славянскому!

Макара Иваныча обнимали, целовали!

— Ну-ка еще графинчик!

Макар Иваныч растроганно, со слезами на глазах, заказывал графинчик и в то же время говорил:

— Нет, я Господу послужу!

Тенора заискивали перед Макаром Иванычем. Альты слушались движения его пальца. Дисканта, при встречах, пищали тонкими голосками:

— Макар Иваныч, вам папаша кланяется!

Даже регент, толстый великолепный дьякон, бас, — модник, всегда ходивший в белоснежных воротничках и рукавчиках, — относился к Макару Иванычу с уважением, и советовался с ним:

— А не отхватать ли нам сегодня, Макар Иваныч, «Иже херувимы»-то Бортнянского?

— Владыка более любит Турчанинова!

— Ну, отхватаем Турчанинова!

Дьякон вспоминал тогдашнюю жизнь свою — как бы путешествие по какому-то веселому морю, на корабле, украшенном флагами. Но в этом море ему суждено было и утонуть... Вечный праздник, с колокольным звоном, архиерейскими выездами, торжественными богослужениями и парадными обедами... звон рюмок, больших и маленьких, в дыму трактиров, среди рыкающих октав и гудящих басов... вся эта прикосновенность к духовному миру привела однажды Макара Иваныча к поступку необдуманному. Он был на высоте славы и почета, но этого ему было уже мало: ему хотелось во всем быть первым. И в то же время жило в душе тайное желание: отчеркнуть чем-нибудь от себя свое прошлое, как бы окреститься в новую жизнь и уж невозбранно пребывать в духовно-певческом звании.

И он «окрестился» в прямом смысле слова.

В то время существовал в городе, среди мещан и ремесленников, обычай: после крещенского водосвятия омывать свои грехи купанием в «Иордани», то-есть в проруби. Шли на это, конечно, наиболее отчаянные головы. Едва кончалось богослужение, как в разных местах реки бултыхались в ледяную воду молодцы, с вытаращенными глазами выползали оттуда при помощи друзей: их закутывали в тулупы и на быстрых тройках с гамом мчали в трактиры, где омывшийся выпивал водки с одного духу, сколько мог вместить, пока не согревался.

Макару Иванычу пришлось проделать это с опозданием, после службы, когда река была уже пустынна. Он шествовал, окруженный рычащими октавами, басами уже в подпитии; даже мелюзга хора собралась посмотреть на удивительное зрелище.

Шли с пением. Макар Иваныч — впереди, как бы под конвоем великанов, изрыгающих хвалу Господу, позади звякали бубенцы тройки. Переверзев нес огром-

ный овчинный тулуп, а бас Громов держал подмышкой четверть в шелковом мешке из-под просфор.

От мороза стоял в воздухе туман. Роща была серебристо-белая, неподвижная, застывшая — как в сказке. А с другой стороны, с горы, сквозь синеву морозной мглы смотрел город холодком своих окон и запушенных метелями крыш. Там высоко взметнулась к небу соборная колокольня, — с нея все еще плыл праздничный трезвон.

Шествие остановилось у проруби. Она уже успела подернуться толстым слоем льда, и Переверзеву пришлось пробивать ее каблуками своих огромных сапожищ, Громов же кнутовищем очищал ее края.

— Только под лед не мырни, — шутил Переверзев.

А Громов советовал:

— Коли мырнешь, запомни, во-н-н там три проруби, к ним плыви, от них светок идет. А мы петь будем, чтоб не сбился.

Хор смеялся. Переверзев мрачно смотрел в лицо Макара Ивановича своими выпуклыми и от пьянства красными глазами.

— А коль и впрямь мырнешь... не боишься?

Макар Иваныч только засмеялся в ответ:

— Господь выудит!

И он выпрыгнул из одежды на ледяной мороз. Немедленно двое певчих перекинули ему подмышки полотенце.

— С Бо-г-гом! — рычали октавы, словно провожая его в дальнюю дорогу.

А хор загремел:

— Во Иорда-а-а...ни...

Темная вода бурлила. Макар Иваныч хотел крикнуть:

— Та-щи-те!

Не мог.

На миг ему показалось, что всё вокруг замерзло: и роща, и город на горе, и небо, и певчие — всё пре-

вратилось в одну ледяную глыбу. Его багровое лицо с остановившимся взглядом стало таким страшным, что певчие инстинктивно потащили его вон, царапая до крови тело об острые края проруби. Подобно обмерзшему судаку, появился Макар Иваныч из проруби. Он стал как бы деревянным, звонким и ломким, лишенным движений, глаза стали круглы и бессмысленны, только челюсти дробно и не переставая стучали. И стучали они, пока завертывали его в тулуп, укладывали в сани, опрокидывали над насильно-раскрытым ртом четверть, и потом лихо мчали по оживленным улицам, мимо дымящих домов, садов, покрытых инеем, и обледенелых на постах городовых, — прямо к «Плевне», в гудящем нутре которой принялись уже оттирать Макара Иваныча водкой и снутри, и снаружи. Но Макару Иванычу казалось, что внутри его течет огненная река, а снаружи весь мир — люди, и тусклые свечи, и самый гомон людской, — всё это сковано страшным морозом, от которого и сам он никак не может оттаять. Потом басы и октавы вокруг него стали вырастать до гигантских размеров; они пухли и ширились и наполняли пространство, но голоса их достигали к нему откуда-то издалека, и он никак не мог разобрать и понять их слов. А огненная река всё бурлила в нем и уж выступала из берегов. К вечеру Макар Иваныч превратился в пылающий костер, — он метался в бреду и кричал, не умолкая:

— Лейте во-о-ду... тушите!

После ему самому было удивительно вспоминать, как в бредовом видении он бегал сам вокруг себя с ведром в руках и плескал на себя воду. И он всегда был уверен, что это душа его хлопотала о спасении тела. И на ее крики прискакала пожарная команда в ослепительных касках и со звоном, шумом, треском качала воду из пожарного рукава. По словам Макара Иваныча, — он шипел, корчился, но продолжал пылать. А вокруг него октавы и басы выплясывали какой-то ди-

кий танец, хохотали, орали, пели и плескали на него горячей водкой. Регент же всё пытался прикрыть его тулупом, огромным и тяжелым, как туча, но тулуп загорался, и сам регент вспыхивал и превращался в язык пламени. А Макар Иваныч, или его душа, всё продолжали вопить.

— Качай, слободская... качч-а-й!!

Так продолжалось долго, очень долго, пока не появился в отдалении, в некоем золотоносном сиянии, архиерей, окруженный светлыми духами. Архиерей приблизился к Макару Иванычу и благословил его. Макару Иванычу стало так радостно, что он заплакал, и от слез его пламя стало потухать. А потом наступила тьма...

Два месяца провалялся Макар Иваныч, а когда встал, подобно тени, и вздумал попробовать голос, то ему показалось, что это не он, Макар Иваныч, поет, а воет охрипшая собака. Он пришел в полное отчаяние.

А жена, напротив, возрадовалась.

— Сла-ва Тебе, Гос-поди!

— Чему радуешься-то?

— Да хоть водку жрать перестанешь, совсем спился... с приятелями-то. Ишь, допился до чего, — в прорубь полез!

Он укоризненно и жалостно смотрел на нее.

— Я пил, как духовное лицо... разве ты можешь это понять! Я, как царь Давид, веселился перед святынею. А теперь буду с горя пить, как сапожник!

И он добавил еще:

— Я по совести поступил... Господь это видит.

— Вот и отнял голос-то!

— Его воля! А тебе бы помолчать... знаешь, как у апостола сказано: жена да боится...

— Ой, как страшно... испугалась!

— Да, да, бояться и уважать должна!

— Колодкой... хочешь?

Она, впрочем, смеялась и в душе жалела его. Но он смотрел строго.

— Помолчи, помолчи... Господь еще окажет себя!

Вот тут-то и случилось самое удивительное. Макара Иваныча потребовал к себе владыка, и когда Макар Иваныч явился к нему, владыка долго и молча смотрел на него, покачивая головой.

— Потерял голос-то?

— Потерял, владыка святый...

— Жаль... жаль! И что это тебе вздумалось в воду лезть, тенорок ты заблудший?

— Грехи хотел омыть, владыка святый.

Владыка чуть-чуть улыбнулся.

— А я молился за тебя.

— Знаю! — горячо вскричал Макар Иваныч, — видение мне было. Когда я пылал, как костер огненный, вы явились, владыка святый, в сонме светлых духов, и потушили!

Владыка еще веселее улыбнулся.

— Блаженны чистии сердцем, — сказал он.

И задумался.

— Что же мне теперь делать с тобой?

Макар Иваныч молчал.

— Хочешь в дьякона?

Макар Иваныч смотрел, не понимая, широко раскрытыми глазами... и вдруг молча бросился на колени и поцеловал архиерейский сапог. И, как в тумане, слышал он голос владыки:

— Только дай мне, владыке своему, слово... не пить!

Макар Иваныч молча поднял, как бы в клятве, руку, но ничего не мог сказать, только заплакал. И всё в том же тумане он вышел, вернее выплыл из архиерейского дома, и всё время этот туман прорезывался ярким солнечным лучом, зажигавшим душу его восторгом. Он чувствовал теперь какую-то особенную близость к Богу. — «Он будет духовным... чудо случи-

лось! Он будет духовным... будет носить длинные волосы и подрясник!». Он снова прослезился, и тут же на крыльце еще раз поднял к небесам руку и дал торжественное обещание: не пить больше ни капли водки!

И сдержал его...

Воспоминания совсем растравляли душу дьякона. Всегда ему удавалось перехитрить свою жизнь. Уж вот, казалось, совсем пропал человек... а, глядишь, и самая ошибка обращается на пользу. Это оттого, казалось ему, что он всегда поступал по совести.

А теперь? Что же делать теперь? Он бы согласился отрубить себе руку, если бы это помогло дьяконице. Он и мысли не допускал, что она может помереть! Он как-то не различал границ между собою и ею: ведь у них одна душа и одно тело. Он как будто чувствовал себя таким же тяжелым, распухшим, неповоротливым, как она.

...Он прокрался к ней в чулан и сел у изголовья.

— Старуха...

— Ну?

— А что, ежели бабушку Карячиху пригласить?

Дьяконица пошевелила головой.

— Не поможет.

— Да ведь она вот и Масленникова лечит.

— А лучше ему от того?

— То уж дело Божие! А всё-таки человеку разум дан: травки она там знает, на угли шепчет. Гляди, и поможет... во имя Господне!

Дьяконица промолчала. И дьякон принял это за согласие.

Карячиха жила на конце улицы, в избушке, вросшей в землю по самую крышу. Крыша эта всегда казалась дьякону косматой головой ведьмы, так стара была

на ней растрепанная ветром солома. Из-под крыши смотрел на улицу тусклый глазок — окно, косое и маленькое, и было оно в углу, так что изба казалась кривой. Внутри, на земляных стенах развешены были пучки трав, сильно пахнущих, и разные страшные предметы, — вроде решета, длинной кочерги с круглой зацепкой и шкуры черного кота. Впрочем, предметы эти были благодетельные, и дьякон хорошо знал их значение. Кочергой, например, Карячиха выбивала холеру, и даже очень успешно: в их селе умер только тот человек, которого она била, а дальше холера не пошла. Решето помогало при головных болях и других болезнях, когда приходилось пускать на человека дождь с молитвой. Но самым замечательным предметом была шкура черного кота: она была незаменима при трудных родах... Сама Карячиха была очень ветха, уже с трудом двигалась, согнутая в три погибели, и говорила сердитым баском. У нее были седые усы и волосы на подбородке. Дьякону пришлось вести ее под руку. Она всё останавливалась, чтобы отдышаться, и басила:

— А ты примечай: коли дуну на нее, а она сотрясется... значит, смертушка пришла.

Дьякон сам дрожал от ожидания.

Но дьяконица не сотряслась. Она холодно смотрела на Карячиху и медленно поворачивала голову, следя, как Карячиха раздувала угли своим сердитым ртом, как положила она угли на сковородку, — каким-то таинственным узором, вроде осьмиконечного креста, — посыпала на них травки, задымившей голубоватым дымом, потом помолилась на юг, на восток, на север и на запад, и быстро-быстро зашептала над углями:

— Свят, свят... свят, свят...

Дьякон едва улавливал ее шопот.

— ...Водичка прохладная, от трех ключей братая, уголек Божий обмой! Как Мать Пресвяту-Богородицу поила, рабу Божью Феклушку напой. Как тело Христа-Спаса в Ордань реке омыла, тело рабы Божьей Фек-

лушки омой. Трясовицу, огневицу отгони с сестрами лихими...

И опять:

— Свят, свят... свят, свят...

Но когда Карачиха, кончив свой таинственный и сердитый шопот над углями, три раза дунула в лицо больной, вместе с набранной в рот водою и этим синеватым, остро-пахнущим дымком, дьяконица закашлялась, отвела сковороду рукой и чуть-чуть улыбнулась.

Карячиха сердито затрясла своей столетней головой.

— А ты верь! — пробасила она, — не то не поможет...

— Меня дьякон каждый день этим дымом-то угощает, — пошутила дьяконица.

Карячиха даже затряслась и заплевала.

— Верь, говорю... верь!

Дьяконица тихо сказала:

— Я Господу верю.

И отвернулась к стене.

Прошло несколько дней. Напрасно дьякон, с тайным ожиданием, внимательно присматривался к дьяконице, — ей не было легче. Она лежала всё такая же тяжелая и неподвижная, только складки на ее губах стали как-то суровее, и она смотрела подолгу, неподвижно и тупо куда-то в одну точку, в стену чулана, словно уже видела смерть там, в ногах постели, где в щели проникали пыльные лучи.

И она улыбалась им долгой, неподвижной улыбкой. Не всегда отвечала и на слова дьякона... как будто светлые и веселые духи смотрели на нее сквозь стены и о чем-то ей рассказывали, — о чем-то неведомом, но уже близком. Жалко было дьякону смотреть на нее. Опять уходил он в клеть, плакал и шептал:

— Смертушка-матушка, не отымай у меня дьяконицы!

Как-то он в тоске бродил по степи, задумавшись

и перебирая в уме всякие способы помочь дьяконице, как вдруг столкнулся на дороге с человеком, вид которого его сначала даже испугал. Человек был очень смуглый, почти черный, ростом с придорожную версту, руки у него мохнатые и черные, и сам мохнатый, губы красные, а глаза мрачные и пылкие, точно источавшие красноватый свет. Дьякон подумал невольно, что перед ним демон, приявший вид человеческий, вроде тех муринов, что являлись пустынникам. Но на ремне у пояса, перепоясывавшего пыльную, черную рубашку человека, болтались какие-то таинственные предметы, по которым дьякон немедленно заключил, что перед ним коновал.

И его осенила блестящая мысль.

— Здравствуйте, здравствуйте, во имя Божие! — сказал он.

Человек остановился и взглянул вопросительно.

— По обличью вашему сужу... не лекарь ли конский?

— Ну?

— Звать-то как?

— Данило.

— Можете вы, Данило, например... ежели опухоль по всему телеси, и в ногах отяжеление?

Человек подумал и мрачно сказал:

— Кровь пускаю.

— Помогает?

— Помогает... коль не сдохнет.

Огненные глаза человека таинственно вспыхнули и он загадочно засмеялся.

— Бекбулатова знаешь?

— Земский в Завалишине? Как не знать.

— Амалека знаешь?

— Кто такой?

— Жеребец его. Хорр-оший жеребец! Кровь пускал, совсем на ноги ставил.

— Излéчили?

Человек махнул головой:

— Сдох!

— Как же, извините... вы так лечите?

Человек взглянул мрачно.

— Не я лечу, Бог лечит. Я кровь пускаю!

Дьякон смотрел на него в смущении и думал про себя: цыган или молдаван? И опять он казался ему бесом в человеческом образе: мурин, как есть мурин, и глаза, как углие! Но желание хоть чем-нибудь помочь дьяконице поборолo его сомнения.

— А не зайдете ли вы, Данило, добреньки будьте, ко мне, ко дьякону здешнему? Уж я вас поблагодарю, чем Господь пошлет.

— Полтину беру, — сказал человек.

— Во имя Божие... можно! Заходите. Дьякона спросите, каждый покажет.

Человек мотнул головой и пошел по дороге. Дьякон смотрел ему вслед, как он вышагивал, подобно черной версте, слегка раскачиваясь и подымая пыль огромными сапожищами. Опять ему вспомнились пустынники, и он решил ничего не говорить дьяконице, чтобы не испугать ее заранее.

— Придет, так перекрещу его сзади, — думал он, — коли бес... рассыпется!

Коновал пришел вечером, когда дьякон доил корову. Коновал улыбнулся очень сладко, подошел тихо, схватил дьякона за грудь... и отпрянул в изумлении.

— Вот те на, — сказал он, — а я думал, девка сидит!

Дьякон в ярости поднялся.

— Дурак... во имя Божие! Это я надел, чтобы корова не боялась. Да и девку ништо подобает за грудки хватать? Вот вы и оказали себя нечистоплотно...

Но он тотчас же смягчился.

— Спасибо, что пришли.

— Показывай, — сердито сказал коновал, — некогда мне лясы точить.

Дьякон пошел; коновал за ним, но у крыльца остановился.

— Нешто в избе?

— А где же еще?

Коновал принялся смеяться.

— Ну и чудак, дьякон! Ходит в бабьей юбке, и лошадь в комнате держит.

— Ло-ошадь?! воззрился дьякон, — что это вы, во имя Божие... мою дьяконицу за лошадь почитаете?

Недоразумение выяснилось. Но коновал обиделся, глаза его загорелись, как угли, и он принялся ругаться.

— Чать, я конский дохтор. А этой дряни не лечу... людей-то! Чего зря звал!

Тем не менее, на убедительные просьбы дьякона он пошел таки взглянуть на дьяконицу. Дьяконица даже испугалась, увидев в полутьме чулана черного человека с огненными глазами. Он посмотрел пристально ей в лицо и ткнул огромным пальцем в живот.

— Кровь налилась, — сказал он, — что же, пустить можно... коровам помогает.

И мрачно взглянул на дьякона.

— Только за это рупь!

А дьяконица шептала:

— Кого это ты привел?

— Конский лекарь, старуха.

— Коновал?

Она смотрела на дьякона круглыми глазами.

— Да ты у меня... совсем дураком стал!

Дьякон смущенно шептал:

— А, может, попробовать, старуха? Пустить... во имя Божие?

Дьяконица не отвечала ему, посмотрела еще раз в пылающие глаза возвышавшегося над нею, подобно тени, черного человека, медленно, с трудом перекрестилась и отвернулась к стене.

Потом у дьякона с коновалом поднялся шум на дворе. Коновал требовал платы за беспокойство. И так как дьякон не желал платить, коновал пришел в ярость и принялся гоняться за курицей. Куры летели на крыши, на заборы, а коновал протягивал к ним черные руки, еще более пугая их своим видом.

Но тут и дьякон впал в ярость.

— А-а... ты так! Погоди, погоди, я-те сейчас заплачу за беспокойство... во славу Божию!

Он бросился в клеть, чтобы найти какое-нибудь орудие. Ухватил там вилы, но когда он выбежал во двор, коновала не было. Дьякон выскочил за калитку, но и на улице нигде не было видно коновала, словно он сквозь землю провалился. Дьякон пересчитал кур и одной не досчитался. В недоумении и смущении вернулся он к дьяконице, и та, поругавши его, объяснила ему, что этот человек показался ей сатаной: он, наверное, хотел ей кровь для того выпустить, чтобы душу себе взять. Дьякон даже ахнул от такого соображения и в душе обругал себя, что чуть было не дал чорту себя перехитрить.

— Перекрестить-то я его и забыл!

И дьякон почесал в затылке.

— То-то он со злости и сцапал всё-таки куриную-то душу.

— Унес?

— С перьями!

— Тебе, дураку, вперед наука. И оставь ты меня, ради Господа, умирать в покое.

Дьякон пришел в отчаяние и сел у нея в ногах.

— Не говори ты мне так, старуха... не терзай моей души! Уж я что-нибудь придумаю. Господь укажет! Помнишь, как Он мне про скалочку-то шепнул?

Дьяконица посмотрела на него с сожалением.

— Совсе-е-м ты глупый у меня...

Впоследствии дьякон еще более укрепился в убеждении, что имел дело с мурином, когда оказалось, что коновал исчез бесследно, и что в деревне его никто даже не видал.

II

В ночь после посещения коновала дьякону приснился страшный сон, от которого он, впрочем, проснулся в веселом настроении. Видел он замерзшую реку и лес в серебристом инее. Он снова, как когда-то, шел к проруби, но шел он теперь один, в ночной мгле и в тишине такой, что воздух казался замерзшим. Серебристо-мутным пятном обозначилась прорубь... он остановился на краю ее, и там, в глубине, увидел туманное отражение месяца. Зачем он пришел сюда, он и сам не знал, но что-то мутное в нем самом привело его сюда. Он смотрел в прорубь, на отражение месяца в ней... и вдруг увидел, как это отражение медленно закрыла тень, как будто кто-то высокий встал на краю проруби. Он поднял глаза и тотчас понял, что перед ним стоит смерть.

Но он не ощутил страха.

— Вот сейчас... сейчас, — думал он.

А что «сейчас», не знал и сам. Впавшие глаза смотрели на него, челюсти лязгали как бы от мороза. На высоком костяке накинут был, подобно черной простыне, длинный плащ, — такой, как в былое время носил октава Переверзев, а шляпа, как у баса Громова, широкополая. Заметил он также за плечами косу, сверкавшую на месяце тусклыми пятнами.

Но всё-таки дьякон не боялся. Он встал на колени и начал о чем-то долго и жалостно просить. Он даже слышал свой голос, но не разбирал слов, как будто говорил кто-то посторонний. И тут взгляд его упал на ноги страшного костяка: ноги эти, с длинными костя-

ными пальцами, пожимались и слегка трещали, как бы от невыносимого холода. И жалко стало дьякону... он сел на снег и торопливо сбросил сапоги. Должно быть, он просил смерть примерить их: она, стуча и треща всем костяным телом своим, села. Но сапоги были комариные для ее огромных лап. И опять она встала, и уж стала еще больше, вытянулась и распухла, и дьякон услыхал, как бы откуда-то издалека, ее сухой, страшный, трескучий голос.

— Сшей... мне... сапоги!

И враз проснулся. Он лежал в темноте с открытыми глазами, а голос и слова эти всё еще звучали в его ушах. Внезапно от вскочил, оживленный и веселый... как всё это раньше не пришло ему в голову? Теперь он знал, что ему делать. Он на цыпочках прокрался к дьяконице; та спала, тяжело дыша, и во сне стонала.

— Спи, спи, старуха, во славу Божию! — шептал он, посмеиваясь и потирая руки.

Еще утро не брезжило. Дьякон поставил самовар и предался чаепитию на дворовом крыльце, мечтая и смотря на небо, которое делалось постепенно светлее, — звезды на нем гасли, и восток уже алел.

С нетерпением дождавшись полдня и ничего не говоря дьяконице, дьякон направился к Масленникову.

Дом Масленникова ширился и высился в самом центре деревни — большой, неуклюжий, черный, как лицо трубочиста, с маленькими окнами, придававшими ему выражение хитрости, лукавства и в то же время какой-то застывшей, тяжелой мысли. Широкая, грязная завалинка, как голенище сапога не по ноге, и далеко свесившаяся за стены, прогнившая деревянная крыша, похожая на помятую широкополую шляпу, придавали дому вид низкорослого, но широкого в плечах разбойника, орудие которого — топор, знак пожарной повинности — было изображено густой черной краской на углу дома. Хотя дом этот строил еще дед Масленникова, но сам Масленников был образом и подобием

своего дома. Широкий, неуклюжий, волосатый и загорелый до черноты, он лежал в просторной темной горнице на трех составленных вместе и прикрытых овчинами лавках, тяжело, трудно хрипел, но взглянул на вошедшего дьякона зоркими, очень хитрыми и от боли злыми глазами.

— Здоровеньки будьте, Микита Евстигнеевич, — сказал дьякон, покрестившись на иконы и подходя к хозяину.

Тот с трудом протянул волосатую лапу.

— Здравствуй, дьякон, здравствуй!

Но смотрел подозрительно.

— Чего пришел?

— Проведать, Евстигнеевич... дело-то соседское.

— Ну, садись!

Он молчал и смотрел на дьякона.

Он дышал так хрипло, медленно и тяжело, что напоминал дьякону умирающего механического турка, Осман-пашу, которого дьякон видел в городе в паноптикуме. Масленников положил руку на живот и слегка гладил его.

— Грызь... замучила грызь, дьякон! За что Господь наказал?!

И Масленников стал роптать и жаловаться на Бога, который наказал его, неведомо за что. Потом он стал жаловаться на мужичишек, отбившихся от рук, на бабу, которая ничего не смыслит в делах, — «четать-песать» не умеет... а пора-то страдняя: долги собирать надо по распискам, учет надо делать, на полях за работой следить. А мужичишки кричат: — «куды ему... всё равно сдохнет». И смеются и радуются, подлецы! Бывало: — «Микита Евстигнеич, Микита Евстигнеич»... Толпой ходят, за кафтан хватают: — «благодетель наш!». А теперь хоть бы кто нос показал, хоть бы рожу кто в окно всунул: — дескать, как ты, Микита Евстигнеич? Один лежит Микита Евстигнеич... день и ночь... сну нет. Баба на полях разрывается... А

ночью песня мимо дома. Все одно поют: «помер, помер наш Антошка, прихожу я, — гроб на ножках!» Хоронят, подлецы, живого в гроб кладут. А Васька Голощапов, пьяница, у которого он весной избу-то отобрал за долг, вставил образину свою в окно и злорадно спрашивает:

— Не сдох еще?.. Ну, сдохнешь!

Масленников страшно и шумно хрипел.

— Не сдохну, дьякон, не сдохну!

И сверкал на дьякона маленькими глазками.

— Еще покажу им, сукиным детям, кто такой Евстигнеич! М-ма-а-сло выжму из них! Эка штука... грызь. Пройде-ет! У деда было, два года валялся... ничего, встал.

— Доктора бы вам позвать, Евстигнеич, — робко сказал дьякон, питая тайную мысль.

— До-о-хтора! До-хтора!

Масленников шумно и презрительно плюнул.

— Баба тоже клохчет: до-о-хтора, до-хтора! А чего они смыслят, дохтора-те? До-охтора! Заразу пущать... холеру, например! Это их дело... безбожники! Заезжал раз ко мне один такой-то, шапку перед иконой не снял. До-охтора! Карячиха меня лечит... молитвой! Она молитву может шептать на всякую вещь. На воду, на угли, на траву шепчет. Червя только молитвой не возьмешь... а у меня не червь, — грызь!

Дьякон искоса взглянул на колыхающийся живот Масленникова и не поверил: ему показалось, что там, видимо для глаз, шевелится и извивается червь. Он грустно потупился от неудачи своего предприятия. Но у него было и другое, и он заговорил, тайно думая, как бы искуснее подойти к делу.

— Жа-а-ль... а то бы он и мне старуху, кстати...

— Карячиху позови.

— Звал...

— Что же?

Дьякон безнадежно махнул рукой.

— А мне помогает, — хрипел Масленников, — пошепчет, и замрет грызь-то. Да вот уж, верно говорю, посмотришь...

Масленников радостно осклабился.

— Через две недели встану!

— Дай Боже, — сказал дьякон с сомнением.

— Верно! И Карачиха говорит... а у ней ведь наука-то от бабушки, сто лет ейной науке-то. Зна-а-ет. Вот встану, и на охоту пойду. Соскучился по ружью, а теперь самая пора. Слыхал, как по ночам птица кричит? Везде кричит, везде гогочет... зовет! Ох, душа моя тоскует...

Масленников даже сделал попытку приподняться на локоть, но тотчас бессильно откинулся.

— Вот только, — помолчав, сказал он, — сапоги не годятся.

Дьякон насторожился.

— Какие сапоги?

— Мои, охотницки. Ржавчина поела, промыкать стали. А мастер-то вон где... за сорок верст!

Дьякон замер. Масленников сам шел ему навстречу.

— Микита Евстигнеич! — вскричал дьякон, — а ведомо вам, что я когда-то был... искусных дел мастер?

— Каких таких дел?

— На счет сапогов-то... и всего прочего! На главной улице в городу, на Николаевской, мастерскую имел. На самоё губернаторшу раз полусапожки делал... по венской моде, с выкрутасами! А уж господа военные так очень даже благодарны были. Непромокаемая-то обувь, надо вам сказать, Евстигнеич, по моей, как говорится, специальности!

И дьякон даже радостно растопырил пальцы в воздухе:

— Во имя Божие!

Масленников долго и внимательно смотрел на него, молча смотрел своими хитрыми глазками, как бы что-то взвешивая, потом крикнул шумно и хрипло.

— Ма-а-ть... а, мать!

Никто не отозвался.

— Пошарь-ка, дьякон, бабу... на дворе где-нибудь.

Дьякон с трепещущим сердцем вышел на дворовое крыльцо и долго смотрел на черные постройки, пока не увидел худую женщину в кладовушке. Он попросил ее прийти к мужу, и когда она пришла, Масленников сказал:

— Дай-ка, мать, сюда мои охотницки боталы.

— Зачем, тебе, Евстигнеич?

— Дай!

— Да зачем тебе!

— Не твое дело! — крикнул Масленников, — давай, коли говорят!

И вот дьякон держал в руках огромные рыжие сапоги, с видом знатока стучал по их подошвам, выворачивал на изнанку длинные голенищи. Он достал свои круглые очки, оседлал ими нос и продолжал свое исследование, бросая краткие и строгие замечания.

— Товарец-то аглицкий... износу бы не было. С поднарядом. Касторкой бы надо мазать! Подошвы из буйвола... пригодятся. И голенищи послужить могут... А головки подгуляли.

Он взглянул через очки.

— Починить, что ли?

Масленников, внимательно следивший за ним, приподнялся, наконец, на локоть и, задыхаясь сказал:

— Сшей ты мне сапоги... коли мастер... новые!

Дьякон даже вздрогнул, вспомнив свой сон, и подумал: — вот оно к чему... помрет человек-то, на гроб заказывает!

А вслух радостно сказал:

— Сошью за первый сорт!

И подмигнул с тайной мыслью.

— Пока не сгниют, — износу не будет!

— Старье-то, — со стоном откинулся Масленников, — что же его носить...

— Уж я вам сошью, Евстигнеич, как на артиллерийского капитана. По воздушному океяну ходить будете, яко по суху, — не промокнут!

— Шей! — шумно сказал Масленников.

И смотрел внимательно.

— А возьмешь сколько?

— Есть три цены, Евстигнеич. За девять можно сшить, за двенадцать... и за восемнадцать. За девять, конечно, для простецов шьем, кои по зайцу ходят. За двенадцать... поделикатеснее, против любого болота устоять могут. А господа военные всегда за восемнадцать заказывают, потому — высший сорт... корабли... хоть по реке плавай!

Масленников помолчал.

— Мои-то за двенадцать шиты.

— Да ведь, правду сказать, Евстигнеич... Товарец-то хоть и аглицкий, а с изъянцем, с изъянцем. Обратите ваше внимание, как в руке мнется. Ломкий товар! Разве хороший может так ломаться? Он и в старости шелку подобен. И подошвы, конечно, буйволовы... Да буйволу-то сколько лет было? Сто! Верно говорю. А обратите внимание на поднаряд. Кто же такой ставит?

— Пятнадцать! — сказал Масленников.

— Не извольте торговаться... сделаю по совести.

— Ну, пес... шей! Только... што бы...

Дьякон, по старой привычке, отошел к порогу, постоял там и почесал в затылке

— Задаточек бы, Евстигнеич... во имя Божие.

— Ну, вот... еще неведомо, что...

— Да ведь нет у меня... ни кепы! Товару-то купить надо? И кстати бы, Евстигнеич, одолжили лошадь: съезжу в волость, да такого там товару куплю... сами увидите!

— Нет лошади, в работе все.

Они, наконец, сторговались. Дьякон снял мерку, а Масленников приказал жене выдать дьякону десять

рублей задатка, насчет же лошади сказал, что раньше воскресенья не освободится. Дьякон вышел от Масленникова как бы в веселом угаре. Ощупывая в кармане деньги, он не шел, а летел по улице, подрясник на нем раздувался от быстрого хода, так ему хотелось сообщить поскорее дьяконице необыкновенную новость. Он уже рассчитывал в уме, как отправится в волость на масленниковской лошади, как упросит там фельдшера поехать осмотреть дьяконицу... денег-то хватит, за покупкой товара, и за визит, и за проезд. Одно смущало: был вторник, — до воскресенья еще целая неделя! Но дьякон радостно смотрел в небо и шептал:

— Господь устроит! Шепнет что-нибудь...

Еще дьякон не успел дойти до дому, как оттуда вышел церковный сторож и, увидав дьякона, закричал ему:

— Батюшка требует!

— А что там случилось?

— Не знаю, о. дьякон. Приказал батюшка, чтобы к нему... Скажи, говорит, чтобы безпременно и сейчас же. Нужно, говорит...

— Уж не треба ли какая? — обрадовался дьякон, — вот хорошо-то бы... во славу Божию!

...В крошечном поповском доме, — избе о двух оконцах, в единственной комнате, — быстро шагал из угла в угол молодой батюшка. У него еще только стала отрастать бородка, и он ее всё как бы вытягивал, играя пальцами. Он что-то напевал, и лицо у него было веселое. Мебели в комнате было только несколько некрашеных стульев, да два белых стола, на одном из которых кипел самовар. Матушка, такая же молоденькая, разливала чай, а батюшка всё ходил и распевал:

Вы мне пове-е-рьте.
Все мужчины че-е-рти!

Но у матушки лицо было недовольное.

— Тебе хорошо, — говорила она, — тебе-то уж хорошо...

И на глазах у нее стояли слезы.

— Так поедем, вместе, остановился среди комнаты батюшка.

— В чем же я поеду? Последняя кофточка... смотри!

Она вытягивала руку и дергала за рукав.

— Даже и починить нельзя... не заплату же из другой материи накладывать? А юбка? Как же я в таком виде покажусь перед людьми-то?

Батюшка был сражен таким аргументом. Он вытягивал губы и покачивал головой с видом сочувствия и сожаления...

— Погоди, Лида, сие наше пребывание во чреве китове скоро кончится. Уж подцепим такой приходец... в шелк наряжу!

— А пока... щелк! — улыбнулась сквозь слезы матушка.

И вдруг впала в отчаяние.

— Господи, неужели мне тут и родить придется... даже и акушерки неоткуда взять!

— Не пла-а-чь, — болезненно сморщился батюшка, — всё образуется... что за чай — со слезами! С коньячком бы... эх!

— Тебе хорошо, — утирала слезы матушка, — тебе-то хорошо, тебя там и коньяком напоят... развлечешься. А я сиди, как в могиле.

— Ну, однако... нельзя же мне не ехать.

— Батюшка опять заходил по комнате, так же быстро, и что-то засвистел, но уже менее веселое. В это время вошел дьякон. Батюшка так и бросился к нему, проявив все признаки необычайной радости: он жал ему руки, распрашивал о дьяконице, о тысяче других предметов, не знал, куда усадить его. Но дьякон предварительно помолился чинно на иконы, степенно поздоровался с батюшкой, затем направился к матушке и совсем по-кавалерски поцеловал у нее руку.

Матушка зарделась от радости и от смущения.

— И где вы это, о. дьякон, научились такому светскому обхождению?

Дьякон не спеша уселся к столу и солидно ответил:

— Примеры тому многие видел, и очень даже высокопоставленные. Раз, когда я губернаторше полусапожки принес для примерки, сам его превосходительство в комнату вошел, в полном препараде, с орденами, и у супруги своей ручку поцеловали, вот точно так же... — «Как вы, говорит, шер-бель-три-жоли, поживаете? Всё ли в добром здоровьице? И готовы ли, говорит, вы, мадам, на променад ехать?» А потом что-то с нею на иностранных языках заговорили, и на меня с интересом посмотрели... да и опять в ручку.

Матушка опять посмеялась, а потом сказала:

— Вот только плохо, что вы нас совсем забыли, о. дьякон... мы тут брошены живем. Давайте, я вам сливочек налью.

— Во имя Господне, матушка, — отозвался дьякон, — со сливочками-то я выпью; но вы ведь мое положение знаете; я заместо курицы на яйцах сижу.

Духовные так и покатились со смеху.

— Как так?

— Всё ведь хозяйство на моих руках: я и повар, я и скотовод, я и брат милосердия... помимо моего дьяконства. Жалко, одного не умею: фальшивые деньги делать. А без них трудно.

И дьякон внимательно посмотрел на батюшку.

— Не требу ли Господь послал? — осведомился он с видом тайного ожидания.

Батюшка махнул рукой и засмеялся.

— Дождешься от Мартына ломаного алтына! Нет, тут дело иное. Слыхали вы, о. дьякон, о новом владыкином распоряжении?

— Откуда же мне слышать? И какое это распоряжение?

— Всему низшему причту периодические экзамены устраивать.

У дьякона вытянулось лицо.

— Во имя Божие... какие экзамены?

— Вероятно, касательно знания служебного устава. Ведь у нас некоторые псаломщики даже читать не умеют. Но наверное не скажу. Давно уже поговаривают, что владыка новые порядки во всем заводит. А вот насчет экзаменов бумажку-то я получил с опозданием: завтра нам в Завалишине у благочинного надо быть, — должен я вас представить на экзамен.

Дьякон с удивленным лицом поднял палец и указал им на себя.

— Меня?!

— Да.

— В Завалишино?

— Ну, да.

— Повезете меня?

— Ну, конечно.

Дьякон поставил палец перед носом.

— Господь-то! Всё устрояет, только попроси. А ведь мне до зарезу надо было ради дьяконицы. Теперь уж вижу: поставлю я дьяконицу на ноги... во славу Божию. И потом вот что я вам скажу, батюшка...

Дьякон стал приходить в радостное возбуждение.

— Доход у нас предвидится... хор-р-оший.

— Да что вы, — обрадовался батюшка: — вот, Лида, тебе и кофточка будет... Только откуда бы?

— Масленников умрет.

Батюшка посмотрел с сомнением.

— Сто лет проживет!

— Нет, — сказал дьякон с убеждением, — мне на него смерть сапоги заказала.

И дьякон принялся рассказывать, как смерть являлась ему во сне и заказала ему сапоги, и как у него явилась идея, как он пошел к Масленникову, как Масленников заказал ему сапоги, и как он понял из сего, что Масленников умрет. Духовные слушали его с удивлением, а потом даже с некоторым почтением: не

каждый день видишь человека, у которого бывают вещие сны. Наконец, и батюшка с матушкой, подобно дьякону, пришли в радостное возбуждение и отдались мечтам о том, сколько будет с Масленникова дохода, и как они его распределят. На этой почве вышло у батюшки с матушкой столкновение: матушка находила нужным приобрести одно, а батюшка другое.

— Без хорошей рясы нельзя, — волновался батюшка, — как к епископу являться? Представительство! Солидно-то войдешь, и место лучше дадут. А тебе с кофточкой...

— Так тебе жалко мне кофточку? Вот ты и обнаружился со своей-то любовью!

— Не жа-а-лко... но зачем непременно шелковую!

Матушка заплакала.

— Не надо мне от тебя кофточки!

— Но послушай, Лида...

— Не надо... ничего не надо!

Дьякону пришлось мирить их; он напомнил, что Масленников еще не умер, и батюшка помирился с матушкой на том, что отказался от рясы. Но тут началась борьба великодуший; матушка любовно стала отказываться от кофточки, находя, что ряса для батюшки и в самом деле нужнее, к тому же он будет в ней такой великолепный. Это привело батюшку в умиление, и он принялся целовать матушку, говоря, что от Масленникова у них хватит и на рясу, и на кофточку, и тотчас же приступил к дьякону с категорическим вопросом, как к оракулу:

— Когда умрет-то?

Дьякон развел руками.

— Ну, уж это от Бога, а не от меня.

И дьякон впал в смущение.

— Как вот только я дьяконицу оставлю?

— Я похожу за ней, — вызвалась матушка, — люблю я ее очень... да и развлечение мне.

Дьякон только приложил руку к сердцу.

— Ма-а-тушка!

А батюшка говорил:

— Другое есть затруднение, существенное: где лошадь возьмем?

— Да ведь надобность-то, батюшка, казенная, — у почтаря.

— Нету, говорит. По летней поре все лошади на лугах пасутся, а народ в работе, послать за ними некого. А выехать-то надо бы к вечеру обязательно, потому сорок-то верст на здешнем коннозаводстве скоро не проскачешь!

— В луга-то за лошадью я и сам могу сходить.

— А верно... дело! И я с вами.

Напившись чаю, батюшка с дьяконом направились к почтовой избе, возле крыльца которой красовался свеже-выкрашенный верстовой столб, а на углу была прибита вывеска, изображавшая черного коня с прямыми ногами и хвостом трубой, а также великолепную черную повозку, каких у почтаря и в заводе не было. Сам почтарь, унылый черный мужик с костылем, хромая, вышел к ним и заявил, что лошадей нет, и раньше вечера послать за ними некого.

— А я куда же на дереве-то, — похлопал он по костылю.

Он весь сморщился, когда дьякон заявил, что сам пойдет за лошадью; ему, видимо, было это неприятно, но, скрепя сердце, он вывел их на крыльцо и указал приблизительно то место на лугах, где паслись лошади.

— А экипаж есть? — спросил батюшка.

— Екипажи-то... в работе, один остался.

И почтарь пошел показывать экипаж.

Экипаж стоял под навесом и оказался негодной к работе телегой, к тому же о трех колесах. Четвертое колесо дьякон, по указанию почтаря, отыскал в амбаре среди всякой рухляди, и оно было больше других и кривое. Дьякон надел его, подробно осмотрел телегу,

с сомнением покачивая головой, но потом махнул рукой.

— Сойдет... во славу Божию. Только надо веревками запастись, на всякий случай.

— Какой случай? — тревожно осведомился батюшка, которого смущала мысль тащиться сорок верст на этой развалине.

— Да ежели колесо соскочит, или грядки отвалятся.

Но почтарь стал божиться, что он на этом самом «екипаже» недавно генерала возил. Когда же дьякон, вооружившись недоуздком, направился с батюшкой в луга, почтарь, усевшись на крыльцо, смотрел им вслед и покачивался от смеха.

Но тем было не до смеха.

Лошадей на лугу, у опушки леса, было около десятка, но сколько дьякон ни бегал за ними, сколько ни приманивал их разными ласковыми словами, они бойко гарцовали, задравши хвосты, и никак не хотели даваться в руки. Дьякон давно взмок, он пускался на всевозможные хитрости, прятал батюшку в кусты с арканом, и направлял коней на него... ничего не помогало; коням даже нравилась эта игра, и они бегали с видимым удовольствием. Только одна старая, чрезвычайно высокая и хромая кобыла стояла среди луга неподвижно и посматривала с завистью на забавляющихся товарищей. Дьякон несколько раз подходил к ней и уходил, наконец, в отчаянии всплеснул руками и крикнул батюшке:

— Придется этого эшафота брать!

Вели они ее вдвоем, вернее, тянули, а она вытягивала шею, скаля зубы, точно смеясь над ними, и упиралась. Завидя их издали, почтарь опять начал раскачиваться на крыльце от смеха; но потом стал попрежнему уныл и серьезен, и помогал им советами, всё такими, что дьякон сказал:

— С твоими советами и живым не вернешься.

У почтаря засмеялись только глаза.

Наконец, телега была насколько возможно укреплена веревками, в оглобли введена лошадь. Наложили сена, уселись и поехали к домам своим, как бы на некую казнь: лошадь шла торжественным шагом, величаво переступая несгибающимися ногами и держа голову кверху. А телега отчаянно тарахтела. Почтарь опираясь на костыль, стоял у ворот и долго смотрел им вслед, весь трясясь от смеха.

Прощание было торжественное. Дьякон даже всплакнул, оставляя старуху так надолго, и увещевал ее верить в то, что уж — что Господь шепнул, то так и будет. Дьяконица ко всем этим хлопотам относилась не столько с сомнением, сколько с равнодушием; но на прощание сказала:

— Только ты там глупостев никаких не наделай... не ораторствуй очень-то. Да и торопись... умру скоро.

Дьякон задергал головой, плечами и руками.

— Ни в жисть не умрешь... я хитрый!

Ехали долго тем же торжественным шагом, пока солнце не начало склоняться к закату, и степь подернулась красноватой мглой. Дьякон принял решительные меры: в течение получаса он с разными милыми словами нахлестывал кобылу по бокам, понуждая ее к бегу, наконец, вышел из себя, поднялся в телеге и взмахнул кнутом с яростным криком.

— Вот я же тебя... во славу Божию!

Но в тот же момент повалился на батюшку и вместе с батюшкой на дорогу, а кобыла неслась вперед, задравши хвост и голову, во весь карьер. Карьер у нее, однако, был тоже торжественный, словно она прыгала на месте сразу всеми четырьмя несгибающимися ногами, и батюшка с дьяконом легко нагнали ее. Теперь они

знали ее слабое место. Стоило дьякону подняться в телеге, как кобыла пускалась в карьер.

Батюшка шутил:

— Торжественное путешествие на экзамен!

А дьякон говорил:

— Всегда Господь-то в самую точку шепнет.

И тут на досуге, среди степного простора, дьякон принялся развивать свою мысль:

— Вы подумайте, батюшка, чтó бы человек без Господа-то... каждое ему дело невдомек. А ты Его тихого гласа слушай... Он всё шепнет, и всё шепнет так, что комар носа не подточит... правильно! Вот со мной раз случай был...

Батюшка насторожился: он любил слушать дьяконовы случаи.

— Какой? Какой случай?

Дьякон на минуту привстал в телеге. Установив торжественный карьер, он уселся и, слегка взлетывая от поворотов кривого колеса, заговорил:

— В старые это годы было, в те поры я еще подмастерьем был, науку проходил. И был я из себя парень великолепный... красавец собой!

Батюшка покосился на дьякона с сомнением, но тот этого даже не заметил.

— Дьяконица же моя в то время в гризетах состояла.

— В чем?!

— В шляпной мастерской... мастерица важная была. У нас их всех гризетами звали. И был я от нее, от гризеты-то моей, ума лишившись. Бывало, как пошлют куда с заказом, всё я у ихней мастерской промежду окон норовлю, а сам на нее всё зеть да зеть... она же нуль внимания, будто меня и на свете нет, да и не было, да и не будет никогда. Что ж ты, думаю, гризета моя... чем я для тебя плох, или чем бы я тебя взять мог... потому — хоть помирай без нее! Не ем, не сплю, сохну. Сторожу, бывало, вечером, — выйдет она: идет

степенно, росту великого, лицом белая, глазок строгий, да и глазком-то никуды в сторону не смотрит, прямо перед собой. Забегу это я справа, слева, словеса какие-нибудь осмелюсь сказать... нет меня, да и всё! В тоску я впал, стал в церковь захаживать, к Богу обращаться. Встану, бывало, перед Владычицей на колени да и говорю ей: стой... сто-о-ой!!

В этот момент голова батюшки описала полукруг, и в телеге остались только его ноги. Дьякон же, вытянув руки, полетел в неведомое пространство. Он первый и опомнился, бросился к обломкам колеса... колесо рассыпалось на кучу обломков и с ним ничего нельзя было сделать. А батюшка стоял весь в пыли и повторял:

— Вот так путешествие!

Дьякон не слушал его и придумывал, что бы такое сделать, чтобы путешествовать далее без колеса? Наконец, надумался, пошел в кустарник, отыскал там довольно толстый дубок, кое-как срезал его и крепко на-крепко привязал веревками под телегу, так что свободный конец вытянулся далеко по дороге, поддерживая телегу там, где не доставало заднего колеса.

— Что это вы, о. дьякон, делаете?

— Да вот колесо устроил... во славу Божию! Садитесь, — до первой деревни хватит.

Они сели и поехали, со смехом и шутками, а дубок, вместо колеса, шуршал позади их. Батюшка смеялся, что они едут на палочке верхом. Но хорошо уж было и то, что кобыла бежала своим торжественным карьером, как только дьякон вставал в телеге. А позади них от дубка поднимались тучи пыли. Насмеявшись вволю, батюшка сказал:

— Ну, рассказывайте, о. дьякон, что же дальше было?

— Дальше-то?

Дьякон поднялся в телеге и, установив карьер, уселся и начал:

— Вот стою я так-то на коленях и молюсь: научи,

Господи, что мне делать с гризетою моею, чтобы сердце ее повернулось ко мне... потому не могу я без нее: потравлюсь, либо зарежусь! Вот как подошло под самое сердце... ни встать, ни сесть, что называется. Раз так-то, под воскресенье, лежу в слезах перед иконою, в бесчувствии молитвенном, и слышу: как бы зовет меня кто-то... тихим таким гласом. Поднял я голову, вижу: и церковь опустела, один я в темноте, только в алтаре огонек мелькает, сторож там убирается. Думаю, — не он же это, откуда ему меня знать? Думаю так-то, и слышу опять:

— Ма-а...ка-ар!..

Тихий глас, как во сне. И зовет будто с правой стороны.

Пошел я туда; вижу, дверь боковая открыта; вышел на крыльцо... никого! Только калитка передо мною в ограде распахнута, а за калиткой улица, и ведет улица к реке. И уж так — как бы ночь в природе, никого на улице, смутно так и тихо, и река вдали светлеет. И потянуло меня на реку. Иду, смотрю на нее, и думы никакой не стало, легко, светло на душе... и вот маячит будто передо мной там, на берегу, что-то белесое. Маячит да маячит, а я смотрю, да иду всё прямо, и чем далее иду, чего-то мне всё радостнее. Да всмотрелся это.... вижу, женщина сидит, в белом платье, и в косынке, и уронила как-то голову в руки, плачет. Сердцем я узнал: она! Да к ней. Да подсел. А она и не шевелится, точно знает, не чужой подсел. И вздрагивает вся от слез. А мне ее до слез жалко; сижу думаю: душу бы я за тебя отдал! А молчу... слов нету. Да осмелился, по плечу ее нежно так погладил.

— Не плачьте, — говорю.

А и сам плачу.

Подняла она голову, но даже и не взглянула на меня, говорит так глухо:

— Зачем вы меня всё преследуете?"

— Не преследую, — говорю, — а это меня к вам

Господь послал, из церкви меня сейчас позвал сюда, к берегу. А я, говорю, гризета, даже и не знал, что вы тут.

Она вот первый раз и взглянула на меня, и глаза, вижу, такие большие, темные, страшные.

— Я, говорит, сюда топиться пришла... уходите от меня.

Схватил я ее за руку крепко.

— Нет, — говорю, — меня к тебе Бог прислал, — будь моей женой!

— Нет, — говорит.

И руку вырвала.

— А коли, — говорю, — топиться хочешь... давай вместе, гризета!

И опять она взглянула на меня. И говорит тихо, будто удивленно:

— Утопишься со мной?

— Утоплюсь, — говорю. — И не только с тобой, — сам утоплюсь... а ты живи!

Да пошел это к самой кручи.

— Без тебя мне не жить... говори слово!

Да смотрю на нее, а она вся светится: не лицо, а лик. Не смеется, серьезная, а точно всей душой улыбается мне.

— Не надо, — говорит.

И руку мне протягивает.

— Вот, — говорит, — бери! Может, я и полюблю тебя.

Да и пошли мы с ней рука об руку к священнику, а потом... и жизнь прожили... во славу Божию!

— А с чего же она плакала и топиться-то хотела? — спросил батюшка, когда дьякон смолк.

— Да любила она крепко одного человека, а тот ее словами улещал, да как увидел, что девица разумная и крепкая, вильнул хвостом да и след замел.

И дьякон смолк надолго.

В ночном мраке показались огоньки. Кобыла, за-

чуяв близкий ночлег, пошла карьером без понуждения. Скоро приехали в деревушку, где у дьякона был знакомый крестьянин. Крестьянин встретил их очень приветливо, и долго дивовался на дьяконово колесо, потом уговорил их взять его тарантас, на котором они рано по утру и намеревались выехать в Завалишино, а пока, по приглашению крестьянина, отправились в избу кушать чай.

III

Крестьянин был человек высокого роста, с очень странно устроенным лицом: маленький лоб, маленькие глаза, маленький нос, а дальше начиналась длинная, широкая, пушистая борода густого черного цвета, совершенно скрывавшая рот, так что говорил он глухо, откуда-то из-под волос, — походило, что голос звучал из другой комнаты, а сам крестьянин к нему только прислушивался. Усадив гостей в горнице, он немедленно распалил самовар, бабу заставил стряпать верещагу, — особого рода яичницу, которая верещит на сковороде, — а потом встал перед гостями в задумчивой позе и принялся внимательно смотреть на них.

— Что это ты так взираешь, Софроныч? — спросил дьякон.

— Думаю, — глухо отозвалось из другой комнаты.

— О чем же это ты, во славу Божию, думаешь?

— А вот, мол, не Господь ли вас послал? Одолела нас всякая нечисть: кобылка привалила со степей, по огородам какой-то жук ползает. А помолиться некому! Причислены мы, вишь ты, к Завалишину, а благочинного-то — нишь, дозовешься? И дорожится он очень, а мы — народ бедный, брошеный. А я-то староста здешний, и о народе заботиться должон.

Голос в другой комнате сгустился:

— Помолебствуйте!

Батюшка взглянул на дьякона, дьякон на батюшку;

батюшка засмеялся и объяснил крестьянину, что им по неотложному делу надо быть завтра по-рану в Завалишине. На это крестьянин ответил, что зачем же непременно служить днем, когда это можно сделать и ночью: Богу-то ведь всё равно.

— Сейчас всех подниму... рады будут!

Батюшка взволновался, а дьякон пришел в радостное возбуждение.

— Это вам, Софроныч, хорошо Господь шепнул. — сказал он и повернулся, весь сияя, к батюшке: — а не отхватать ли нам... во славу Божию и всех святых Его?

Батюшка, с отчаянием на лице, сказал, что никак этого нельзя сделать, потому что служить не в чем и не с чем: нет ни фелони, ни эпитрахили, ни креста...

Но дьякон тотчас нашелся.

— Чистая холстина есть, Софроныч?

— Как же не быть, о. дьякон.

— Так я живым манером из нее эпитрахиль скрою, — обернулся он к батюшке, — и кресты из девичьих лент нашью... во славу Божию. Будет, конечно, без бахромы и без золота, да ведь, когда нет кропила, употребляют же пучок сена.

— А фелонь?

— Обойтись можно... Бог простит.

— А крест?

— Кре-е-ст, — заворчало из другой комнаты, — у чернички найдется, ерусалимский, купаресовый, на гробе Господнем освящен... и весь картинами расписан.

— А требник? — не сдавался батюшка, — ведь я же наизусть ни одной молитвы не знаю!

— У чернички всякая книга есть.

Батюшка слегка расцвел.

— Еще одно соображение, — сказал он, впрочем, неуверенно: — ведь, ежели благочинный узнает... обидится!

— Не узна-ет! — уверило из другой комнаты, —

у нас народ дружный, да нам и не в первый раз проезжих-то священников привлекать. Раз даже у нас один беглый священник цельную неделю скрывался.

— Беглый?

— Да, от жены сбег... лю-ю-тая! Хо-о-роший священник, зашибал только маненько. Уж так мы жалели, как она его нашла. И надо же было случиться, что она ехала, а он на завалинке сидел. Не поверите, такого-то человека она за волосья уцелила, да так в тарантас посадила и увезла.

— Стро-огая, — покрутил дьякон головой, с видом искреннего сожаления, — и откуда такие ефиопы родятся, прости их Господи. Вот у меня дьяконица тоже строгая, но души благородной! А черничка далеко живет?

— Рядом.

— Так зови ее, во имя Господне, на совещание.

Софрон ушел.

А батюшка совсем развеселился. Видимо, всё это его радовало, не только как заработок, но и как необыкновенное приключение. Он сновал по горнице и, потирая руки, говорил:

— Как хорошо-то всё подошло, о. дьякон, правда? Точно в древние времена! Ночь... катакомбы... а там где-то — языческие воины сторожат. Одного только нехватает... била!

— А это что? — насторожился дьякон.

— А это в древней церкви, до появления еще колоколов, употребляли... доски такие гулкие.

Дьякон смолчал, задумался, потом куда-то скрылся, где-то пропадал короткий срок и вернулся торжествующий, но ничего батюшке не сказал.

Пришла черничка с узелком. Она была очень хорошенькая, но видом скромная: лицо белое, губы пунцовые; она их всё поджимала, а глаза держала опущенными, но когда ими взглядывала, — батюшка каждый раз вспыхивал и чувствовал себя неловко; дьякону

же казалось, что в комнате вспыхивал, загорался какой-то нежный свет. Он невольно засмотрелся на нее, и даже полюбовался, но при этом подумал:

— Моя дьяконица лучше!

Она была лучше для него — с ее распухшими ногами и старым, строгим лицом; он с нежностью задумывался о ней, и в душе его поднялась тоска: как-то она там без него? А черничка была очень рада духовным, и тотчас завела с батюшкой разговор о божественном. И видно было, что она относится к духовным с полной доверчивостью, как к каким-то особенным людям.

— Когда беси смущают, — нежным голоском вопрошала она, — какие надо, батюшка, молитвы читать?

Батюшка слегка потерялся и взглянул на дьякона, а дьякон уверенно сказал:

— Все молитвы против беса хороши, только читай с верой... во славу Божию.

— Мне бы хотелось самую настоящую...

Дьякон чуть-чуть усмехнулся.

— Али другие не помогают?

Она сильно вспыхнула, сделалась пунцовой, нахмурилась и сказала сквозь зубы:

— Нет!

— Что же так?

— Сны мучают...

— Для сна, — сказал дьякон, — самое хорошее средство «Господи помилуй» читать до тех пор, пока голова не закружится. А как закружится, и уснешь... спокойно, во славу Божию.

Она помолчала, всё нахмурившись, а потом тихо сказала:

— Уснешь-то, уснешь... а во сне-то бес и лезет!

Дьякон глядел на нее пытливо, видел как длинные ресницы бросают на ее щеки как бы греховную тень, и ему стало ее жалко. Он подсел к ней и стал потихоньку, ласково гладить ее руку.

— Изгоняй, девица, сей род лукавый молитвою и постом... а еще лучше: окати себя водой из ведра, — как рукой снимет. Когда я еще в городе жил, и мастерской у меня не было, а состоял я в науке, бывали у меня тоже искушения. Так заберусь это я в погреб, да и сижу на льду; долго сижу, пока так не учнет трясти, что зуб на зуб не попадает. Бес-то огонек любит, сказано, — адский житель, а холоду-то не выдерживает! Бывало, как рукой снимет... во славу Божию!

Черничка улыбнулась, ласково и благодарно взглянула на дьякона, а батюшка принялся смеяться. Дьякон из холстины скроил эпитрахиль, наметил кресты из красных лент и усадил черничку шить. В узле у нее оказался и требник, и ладан, великолепный иерусалимский кипарисовый крест, и даже свечи и даже огромное, старое медное кадило.

Дьякон радовался.

Между тем, вернулся Софроныч, закрывая рукой нос, из которого текла кровь.

— Какой-то пес, — ругался он, — снял дверь с амбара, да у калитки положил... в темноте-то я расшибся.

— Пес-то этот я, — засмеялся дьякон.

— Прости, о. дьякон... да чего же ты у меня дом то зачал ломать?

— Сейчас узнаешь!

И дьякон скрылся. А через минуту по деревне, в ночной тьме, побежали гулкие удары: дьякон усердно колотил обухом в крепко-сколоченную деревянную дверь, утвержденную на обрубках. Что-то тревожное было в этих звуках и в то же время торжественное. Народ стал поспешно собираться на этот необычный призыв. Большинство баб захватило с собою из божниц иконы, мужики пришли с фонарями на палках, — тьма ожила, забегали тени, улица наполнилась смутным говором. А дьякон всё гулко колотил по калитке.

— Бух... бахх! — бежало по деревне.

Дьякон взмок, но радостно улыбался и говорил толпе между ударами:

— Чем не трезвон, во славу Божию?

Вышел батюшка в белой эпитрахили, с крестом в руке. К середине улицы поставили стол, накрытый скатертью, на него — глиняную чашку с водой, по краям чашки утвердили свечи. Софроныч разжег кадило. Вокруг стола встали мужики с фонарями, перед столом — бабы с иконами. Тишина в воздухе была такая, что пламя свечей колебалось только от дыхания людей. Прежде, чем приступить к служению, батюшка о чем-то посоветовался с дьяконом и, обратившись к толпе, сказал:

— Братие! Обыкновенный полевой молебен оплачивается суммой, собранной со всех по общей раскладке. Мы же сделаем иначе. Да кладет каждый на тарелку по достатку своему при целовании креста. И вам, и нам лучше будет. А кто отдельно закажет молебен уважаемому святому, оплатит соответственно. Согласны?

Толпа зашумела.

— Ладно, батюшка! Согласны!

А Сафроныч прогудел как бы откуда-то из-за соседнего плетня:

— Не заботь, отец, свою душу, всё будет хорошо.

Началось торжественное служение. Тьма вздрагивала, волновалась и словно прислушивалась к пению; смутные лица людей выступали из тьмы на багровый свет свечей, подобно ликам с иконы небесного воинства, по-за толпой избы как бы шевелились и безшумно вытягивались: всё вокруг полно было смутного, фантастического движения теней.

С неба смотрели звезды.

Софроныч подтягивал густым, чревовещальным басом, у чернички оказался прекрасный альт. Но умилительнее всего было пение дьякона. Когда он называл какого-нибудь святого:

...«Вла-а-сие... моли Бога о нас»!.. — то казалось, что сам святой присутствует тут же и охотно исполняет просьбу дьякона. Бабы расчувствовались и плакали, а мужики шумно вздыхали. Медное кадило тяжело звякало, и ароматный дым клубился над столом, туманя пламя свечей. Бесконечно читались заказные акафисты, так что батюшка взмок, охрип, но имел вид веселый. То и дело, возводя очи к звездам, он взывал к какому-нибудь святому:

...Святителю отче Нико-о-лае...

А дьякон и хор подтягивали:

— Мо-оли Бога...

И уж они смолкали, и батюшка читал дальше, а чревовещательный бас все тянул как бы откуда-то из тьмы:

— О на-а-а-а-с!..

На стол сыпались поминания с звенящими пятаками и ржавыми гривнами, так что батюшке пришлось в конце молебна вставить краткую литию о усопших, при чем дьякон с таким чувством произносил имена умерших, что бабы принялись навзрыд плакать, и волнение охватило толпу: всем казалось, что покойники бродят где-то вблизи во тьме и отзываются горестными голосами на звуки торжественного пения:

— Ве-е-чная па-а-мя-я-ть...

Когда же закончилось молебствие, дьякон встал с тарелкой рядом с батюшкой, а народ стал подходить к кресту, и батюшка всех кропил. На тарелку, звякая, падали рыжие и черные монеты. Между пением дьякон поманил к себе черничку.

— Тебя как звать-то, девушка?

— Аннушкой.

— Ты вот что... приезжай-ка к нам в Павловку, милости прошу, к дьяконице моей. Она тебе лучше нас, духовных, поможет: она всё знает!

— Что всё? — вскинула черничка глаза.

— У ней тоже бывали искушения-то. Приезжай-ка, милости прошу... во имя Господне!

Дьякон принялся петь тропарь, а сам забирал горстями с тарелки монеты и ссыпал их в карманы подрясника. С пением двинулись по улице, вспугивая тьму, смутно убегавшую перед ними, а за ними бесшумно смыкавшуюся. Батюшка кропил в обе стороны на темные хаты. Вышли за околицу к полям и, отслужив тут краткое молебствие, большим кругом пошли вокруг деревни. Как большие светляки, мелькали и колыхались фонари; над толпою в смутной игре переплетались свет и тени, придавая странную таинственность этому шествию в полночной мгле. Над деревней сонно перекликались петухи. Временами с боков мелькали смутные тени собак, упорно сопровождавших шествие, хотя их и гнали; когда же останавливались для молебствия, собаки садились и ждали, и во тьме сверкали их глаза. Тучи мошек, жучков, бледных ночных бабочек кружились над фонарями, бились в их стекла и сгорали в пламени свечей. А с полей плыл аромат конопли и диких трав. Ночь была тиха и тепла; в небе медленно черпала Медведица. И хотя под блеском звезд таинственно млела даль полей, людям от тусклого света фонарей казалось, что они движутся в глубокой, мрачной мгле. И из этой мглы неслись к звездам страстные просьбы:

— Да-а-ждь... до-о-ждь...

Дьякон и черничка, а с ними и толпа, подхватывали:

— Земле жа-а-ждущей...

И долго еще слышался бас Софроныча:

— Спа-а-а-се-е!

Мгла впитывала в себя эти мольбы и уносила их куда-то вдаль, в поля, отзывавшиеся вскриками ночных птиц и свистом встревоженных зверьков. И внезапно эта мгла, когда уже обошли всю деревню и снова подходили к улице, пропиталась легким багро-

вым светом, который всё усиливался. И вдруг всё как бы вспыхнуло багрянцем, из тьмы резко выступили черные силуэты крыш...

— Что это? Что это? — всколыхнулась толпа.

И вдруг люди метнулись к улице с резкими, тревожными криками:

— Пожар! Пожа-а-р!!.

Фонари описывали в воздухе круги и дуги; иконы в руках баб словно метались в испуганном беге. Люди шумно влились в улицу и бежали, как безумные, увлекая за собою дьякона и батюшку. Словно красным бенгальским огнем освещена была улица: в конце ее пылала крыша хаты. В тихом воздухе огонь вздымался кверху, как пламя свечи.

— Пожа-а-р! — несся испуганный вопль.

Бас Софроныча принял трескучие раскаты:

— Люди-и! Тащи ведра... топоры-ы... кто по пожарной части! Миколаев, запрягай... бо-о-чку-у!

Мужики бежали к воротам хат. Собаки лаяли, как бешеные.

— Где гори-и-т?

— Старухи Микулиной!

Бабы комком крутились вокруг кого-то.

— Вот она... здесь она!

Хаты точно шевелились, вздрагивали в отблесках багрового света; свет этот падал и на искаженное ужасом лицо старухи, которую бабы увлекли под руки, потому что она с трудом ходила, а теперь от испуга совсем повисла на их руках и только повторяла хрипло, отрывисто:

— Старик... старик...

В толпе бежало:

— Ведь он без ног у ей!

— Сгорит!

— Скорей, ребята!

Звучали отчаянные крики:

— Бо-о-чку-у!!.

Дьякон стрелой несся впереди; монеты в карманах его тяжело звякали, затрудняя бег; он всё почему-то обертывался и кричал:

— Батюшка... за мной!

Батюшка задыхался. Эпитрахиль улетела у него куда-то за плечо; он бежал с вытянутыми вперед руками, словно ловя кого-то, и кричал жалобным голосом:

— Какая беда... о. дьякон... какая беда!

Дьякон обертывался и звал:

— Ба-а-бы... с иконами... за мной!

Пламя зловеще шумело. Кверху быстро-быстро уносился дым, а за ним, спеша, летели тучи шипящих искр. Бабы, с молитвенными и жалостными воплями, толпясь, стали, по указанию дьякона, полукругом; иконы засверкали в их руках, как бы блестками крови; временами они поднимали их и крестили горящую хату. Гулко простучала бочка; мужики кинулись с топорами, с ведрами. Ломали плетни, заборы, сносили амбарухи, чтобы не дать огню распространиться дальше. Среди криков гудел бас Софроныча:

— Лома-а-й! Шибче-е! Дружнее!

Но вокруг избы всё росло смятение, вопли ужаса; старуха Микулина рвалась из рук державших ее баб с хриплым, безумным криком.

Мужики толпились и не знали, что делать. Несколько человек сунулись было к огню, но отбежали, обожженные.

— Ребята... старик-то!

— Как же...

— Лезть надо!

— Как полезешь...

— Воды-ы сюда!

— Лей воду... туши-и!

— Нишь, потушишь...

Старуха вырвалась и метнулась к двери. Но мужики поймали ее.

В это время дьякон сбросил подрясник и протянул его батюшке.

— Держите-ка... тут деньги.

— А вы куда?

— Сейчас вернусь... во славу Божию! Не просыпьте деньги-то...

В своих широких, серых казинетовых брюках и белой рубахе, пущенной за пояс, дьякон бросился к мужикам, растолкал их.

— Давайте кафтан! — кричал он, — кто-нибудь, скорей кафтан!

Софроныч бросил ему кафтан.

— Лей воду на меня! — распоряжался он.

А сам залезал в кафтан. В голосе его была такая властность, что мужики, не рассуждая, окатили его водою из ведер с ног до головы.

— Еще! Еще!

Вода бежала с него ручьями. Батюшка бежал за ним и кричал:

— Куда вы? Куда вы?

Но он уже метнулся мокрым черным комком в дымную пасть двери, откуда почти вслед за тем, как он выбежал, выбросился огненный язык и лизнул шарахнувшуюся толпу.

Вслед за ним, как в гипнозе, бросилось несколько парней. Крики превратились в бурю воплей; народ двинулся к избе, точно хотел сжать, раздавить ее, потушить пламя своим дыханием, слезами и безумными криками.

Но уж в дверях показался дьякон. Он дымился, горел, но изо всех сил волок за собою что-то. Десятки рук ухватились за него, поспешно вытащили его; парни подхватили его ношу. Вода ливнем полилась на дьякона. Черничка, обжигая руки, тащила с дьякона кафтан, не замечая, что на ней самой дымится и тлеет платье. Дьякон показался из кафтана весь черный, как головешка, от него шел пар, он с хрипом и со свистом

вдыхал воздух, но при всем том весело улыбался.

— Вот так пламень адский... во славу Божию! — хрипел он, — чуть не задохся...

Его обступили, радостно смеялись. Батюшка чуть не бросился ему на шею и со слезами, радостно говорил:

— И боялся же я!

— Думали, сгоришь! — кричали мужики.

Дьякон посмеивался.

— Я хитрый... в воде не тону и в огне не горю!

И обернулся к своей ноше.

— Жив ли?

— Целехонек, о. дьякон... ничего, отдышится.

— Ну, и пусть еще, во имя Господне, сто лет проживет... у меня рука легка! А за кафтан спасибо: я в нем, как в облаке, путешествовал.

Софроныч топтал кафтан ногами и угрюмо басил как-бы откуда-то издалека:

— Только облако и осталось!

...Потолок обрушился в воющее пламя, и с треском стали падать обгоревшие стены, образуя шумящий костер. Всё еще летели искры, как золотые пчелы, и багровый дым всё убегал вверх. Но уж дыма становилось всё больше и огонь в нем смутно бился, прорывался и тух. Черными, лохматыми тенями метались мужики и беспрерывно плескали воду. Бабы хлопотали около старика; он был подпален немного, но больше перепуган, всё плевался сажей и непонятно рассказывал, что свалился с нар и тем только спасся, потому что припал к полу и дышал в щели, дьякон сразу и запнулся за него. Старуха Микулина то голосила над стариком, то бросалась к дьякону и принималась целовать у него руки, обливая их слезами. А дьякон залезал в подрясник и говорил, ощупывая карманы:

— Все ли деньги-то целы?

— До них ли было, о. дьякон!

— Что это вы, батюшка, как же не до них... чать, это наше пропитание!

Пламя пожара быстро тухло; улица погружалась в мутно-багровую мглу.

Через час дьякон и батюшка сидели за чаем в просторной избе Софроныча, в компании закоптелых и обожженных мужиков. Черничку дьякон усадил на почетное место, под божницу, и заставил ее хозяйничать.

В избе было жарко и шумно. Разговор шел о злобе этой ночи: о том, что Микулина, собираясь на молебен, позабыла свечу в сенцах, оттого и загорелась изба; хорошо еще, что не было ветра, а то не уцелеть бы и всей деревне. Жалели Микулиных: разорились старики, без приюта остались.

— Разве детей нет у них? — спрашивал батюшка.

— Был сын, да непутевый вышел: от дому отбился после солдатчины, бродит по свету, неведомо где.

— Одинокие, значит, старички-то?

Мужики шумно вздыхали.

— Одиношеньки, как есть... плохо их дело! Доведется по-миру ходить...

Дьякон еще не успел помыться: был черен и взъерошен, даже нос у него был, как у галки, черный, но вид — веселый.

— Почтенные прихожане... во имя Божие! — говорил он.

И как только он начинал говорить, мужики повертывались к нему и принимались улыбаться во все лицо.

— Я вам одну быль расскажу, а вы ее себе на ус помотайте, во имя Господне. А быль-то эта была со мной. Случилось это в стары годы, еще в те поры, как я в архиерейском хоре пел, и рукомесло свое совсем забросил, а больше с приятелями по трахтирам ходил. Был я человек веселый, из себя красивый... чего смеешься? — повернул он к черничке свой черный нос.

Та улыбалась ласково, но молчала.

— Ты не смейся, а вот приезжай-ка к нам, да

порасспроси дьяконицу, каков я был молодец... король! И был я в те поры охотник выпить, так... малую толику... во славу Божию... пока ноги держут.

— А когда не держут? — улыбнулся батюшка.

— Тогда уж руками помогал... а домой всё-таки добирался. Вот и сижу я так-то раз, подгулявши, в трахтире... одиноко сижу... водочка, закусочка передо мной... машину слушаю. И входит вдруг приятель мой, портной Семен Иваныч, покойничек теперь, царство небесное. Узел у него подмышкой, — в черном платке, что-то завязано. — А-а! — говорит. И я отвечаю: а-а! Ну, сейчас выпили. Он и рассказывает мне: — сшил, говорит, на генерала Калатузова парадную форму, несу... да генерал-то оченно строгий, вот и зашел я для храбрости стаканчик пропустить. Поговорили мы так, выпили... ушел он. Да не прошло и получаса, как вбегает он опять, уж без узла, и лица на нем нет: бледный, трясется, да ко мне, да ухватил меня за руки.

«Брат, говорит, друг, говорит — погибель моя пришла... жисти своей должен я решиться!».

Да в слезы.

Влил я в него бальзаму стакан, успокоил его, так что он и глаза вытаращил. Ну, рассказывает: — поехал, говорит, на конке, чтобы поскорее, узелок рядом положил... да и впал как бы в затмение. Очнулся, оглянулся, а узла-то и нет! А мундир-то, говорит, с прочей аммуницией стоит сто двадцать целковых!.. Зову я полового: отведите, говорю, нам кабинет для размышления, и притащите туда всего в полную плепорцию: у нас военный совет будет. Засели мы с Семеном Иванычем в отдельное помещение, выпили и принялись обдумывать... а тут мне Господь-то одно дело и шепнул.

— Стой! — говорю, — Семен, ступай сейчас домой и успокой свою душу, да жди меня к вечеру, а я коечто придумал и домой побегу.

Вот пришел я домой, рассказал всё супруге своей, и план свой объяснил. А она мне:

— Пьяницы вы оба!

А я ведь хитрый... и говорю ей:

— Мы-то пьяницы, плохие люди, а ты трезвая, стало быть, хорошая... вот и помоги!

Улыбнулась она на мои слова, пошла в другую комнату, да и несет свои модные сапожки, кои только по большим праздникам в церковь надевала, — моей работы. — Вот, говорит, возьми, а мне потом другие сошьешь. А любила она те сапожки... и надо правду сказать, не сапожки это были, а произведение — герцогине под-стать: одни каблуки в полтора вершка. Прослезился я даже, обнял ее. — Ты, говорю, у меня на свете одна, а лучше тебя никого и нету! Побежал я по заказчикам, хор на ноги поднял, кое-кого из знакомых священников потревожил, и даже в женский монастырь смахал... разыграл женины сапожки в лотерею! Конечно, не за сапожками гнались, а Макара Иваныча уважали. Через недельку я девяносто целковеньких Семену Иванычу и вручил... ожил человек. А сапожки-то кто выиграл, как бы вы думали? Игуменья женского монастыря, мать Таисия... уж очень много мы тогда смеялись, во славу Божию!

И в избе все смеялись. Больше всех смеялся Софроныч; он весь трясся от смеха, и хохот его звучал как бы откуда-то из-под земли.

— А ловко отец дьякон-то подвел, — загудел он, — верно это... надо нам старикам-то помочь!

Дьякон даже взвился над столом.

— Молодец, во славу Божию!

Мужики шумно оживились.

— Верно, ребята... как же бросить сирот таких...

— Помо-о-жем!

— Помощь устроим! — гудел Софроныч.

— Устро-о-им! В одно воскресенье всем селом избу поставим, пущай живут! Кто бревнушко, кто дощечку... мир — велик человек: худо ли, бедно ли, а жить можно будет.

И всем было радостно.

— Ай да дьякон!

Дьякон веселился.

— По любви-то, друзья, жить, и рая не надо! А мы к вам за это будем потихоньку приезжать требы исправлять... и вас к нам милости просим, во имя Божие! Всем и будет хорошо.

Батюшка тревожно добавил:

— Только чтобы благочинный не дознался!

Мужики шумно уверили, что они — народ крепкий, никому не скажут, а потом стали прощаться и уходить.

Когда они, наконец, остались одни, батюшка затoропился было спать; но дьякон сказал, что всякое дело требует хозяйственного распоряжения, и потому необходимо сначала пересчитать деньги. Он принялся высыпать их на стол полными горстями. Денег оказалось много, всё больше меди, и считать их пришлось долго, так что батюшка волей-неволей принял в этом участие, хотя глаза его совсем слипались. Пятаки, трешники, семишники долго звенели и звякали в тишине избы, устанавливаясь в стопки.

— Шестнадцать рублей! — сказал дьякон.

И радостно вздохнул. Он пододвинул к себе четыре стопки и, вынувши платок, ссыпал их в него и принялся старательно увязывать.

Но тут батюшка потихоньку сказал ему:

— О. дьякон!

— Ну?

— Ведь это у нас доход-то, так сказать... не того... неофициальный, — случайно Господь послал. Так давайте и разделим по-товарищески.

— То-есть, как это?

— Пополам.

Дьякон взглянул удивленно.

— Пополам?!

— Ну, да!

Дьякон расцвел.

— Батюшка, — сказал он, — позвольте... позвольте вас обнять...

Он обнял и поцеловал его.

— Это я... за дьяко́ницу!

IV

В Завалишино приехали к обеду.

У благочинного в этот день стряпались для гостей пельмени, и он пригласил на пельмени батюшку, на дьякона же не обратил внимания, лишь холодно кивнул ему. И с виду благочинный был холодный, тощий, длинный, с длинным худым лицом и длинной бородой, цвета очень рыжего. Глаза же у него были бесцветные и как бы мертвые: словно смотрел не человек, а заводная кукла. И губы его двигались тоже как-то механически, словно на невидимых шарнирах. Говорил он протяжно, длинно, медленно и вяло, точно изо-рта у него, как у фокусника, тянулась бесконечная бумажная лента.

— Про-шу-у! — тянул он, длинной, белой рукой указывая батюшке на дверь в столовую, откуда слышался гомон голосов.

Дьякон вышел во двор. Его томило желание поскорее отправиться к фельдшеру и потом на базар за покупками; но на дворе под навесами он увидел многочисленное общество, подобное стае воробьев в ненастье. Там, на грядках телег, на опрокинутых боронах, а то и прямо на земле расположилось десятка два дьяконов и псаломщиков, уже давно и терпеливо ожидавших великого часа испытания. Тут был тучный дьякон Божедомов, из очень богатого прихода, одетый в великолепный подрясник цвета весенней зелени, с золотой цепочкой на груди, державшийся гордо и в отдалении. Прислонившись к тележному колесу, сидел псаломщик Выжигин, из мордовской деревни, в рваном

сером подряснике, с лицом скуластым, безволосым, злым и пыльным, — он пришел пешком за тридцать верст, — и с параличной правой рукой, отчего, когда он крестился, рука его забирала выше головы, а потом далее плеча. И потому над ним все смеялись, а он всех ненавидел. Еще тут был дьякон Ястребов, лысый, высокий человек с грустной улыбкой, и сын его, дьячок Ястребов, из другого прихода, рослый, волосатый человек в черной рубахе, разбойничьего вида. Они были известны по всей епархии тем, что лет уже двенадцать судились друг с другом из-за трех сотен кизяка, сожженного отцом, и иерусалимского сундука, похищенного сыном после смерти матери.

Многих дьякон знал, и тех, которых знал, звал по отчеству.

— А-а, Маркович, — направился он к Выжигину, — как поживаешь, во славу Божию?

Выжигин, заслышав его голос, поспешно встал, и, с лицом внезапно расцветшим радостью, тянул свою параличную руку куда-то мимо дьяконовой руки. Дьякон сам поймал его руку и, крепко пожимая, спрашивал:

— Трепыхается в брюхе-то?

И говорил ободряюще:

— Ничего, ничего, Маркович, не трусь, Господь выудит!

Выжигин хотел что-то сказать, и не сказал, только молчаливо улыбался и уж не отходил от дьякона, и всё почему-то гладил его по плечу. Дьякона окружили и стали жаловаться, что всех оторвали от работы, и неведомо для чего: какие же экзамены... или на старости лет учиться людям, забросивши хозяйство? Да тут, дай Бог, только времени на пропитание добыть... И кому это надо? Ястребов-отец жалостно кричал, что суда праведного ныне и у владыки не сыскать, а какие-то там экзамены повыдумывали, чтобы людей мучить.

— Я — человек лысый! — кричал Ястребов.

И взмахивал у себя над головой руками, словно отгоняя мух.

— Я от горя волосы потерял... что отвечать буду?

— А вы не думайте, Васильевич, что отвечать-то.

— Да как же не думать, Макар Иваныч?

Макар Иваныч таинственно подмигнул.

— Господь шепнет!

Из отдаления дьякон Божедомов насмешливо отозвался:

— Сам не знаешь, никто не шепнет. Я вот всё знаю, так ничего не боюсь.

— Всё-то только Богу известно, Кирилыч!

— И мне! Потому что я всё Божие слово прочитал.

И Божедомов гордо смолк в своем отдалении.

— А я знаю только одно, — сказал Ястребов-отец, — что есть Господь-батюшка... и не допустит Он моему сыну-разбойнику над правдой торжествовать.

И он торопливо принялся говорить что-то об иерусалимском сундуке; но Ястребов-сын грубо прервал его:

— Я пусть разбойник, а ты — вор!

— Ты вор! — побежал Ястребов к сыну, — ты материн сундук украл.

— А сколько я месяцев навоз копил для кизяка, ты учитывал?

— Разоритель! Непочетник!

И пошел гвалт. Тщетно пытался Макар Иваныч примирить их: дьякон и сын налетели друг на друга петухами и выкрикивали обидные слова. Гвалт возрос до того, что старая цепная собака принялась яростно лаять, а из окна выставилась голова благочинного.

— Что-о-о случилось? — спрашивал он, вяло пережевывая слова.

Ястребов-отец бросился к окну.

— Ваше высокоблагословение... разбойник... двенадцать лет... сын... я подавал...

Но благочинный замахал руками и поспешно скрылся. Собака еще долго продолжал лаять и ворчать. За

окнами, в комнатах, слышались говор, смех и звяканье рюмок. Дьякона с сыном, наконец, разъединили, и Макар Иваныч наставительно говорил им, а потом и всем:

— В миролюбии жить подобает... во славу Божию. Владыка мне сказал: блаженны чистые сердцем. А свара человеку уши застилает: он Господа не слышит, ибо глас Господа тих...

Ученый псаломщик, прошедший духовное училище, с черными усиками и не по летам важным видом, сказал с легкой насмешкой:

— Господь говорит в громе и огне.

Макар Иваныч повернулся к нему.

— А ты бойся, когда Он заговорит в громе и огне-то: тогда уж поздно с Ним разговаривать, — в единый дух испепелит!

— А с вами Он, что же, — насмехался псаломщик, — в тишине разговаривает?

— В тихости, друг, в тихости... со всяким человеком в тихости. Он завсегда так: думаешь, совсем человек пропал, а Господь-то и шепнет!

— И вам шептал?

— А как же! Я потому ничего и не боюсь. Он завсегда со мной, Господь-то. Как что, а Он и тут. Вот недавно Он мне в сонном видении смерть послал, а та мне сапоги заказала.

— Сапоги?!

И все сгрудились вокруг Макара Иваныча, даже дьякон Божедомов слегка придвинулся.

— Зачем же смерти сапоги?

— Всякая Божия тварь холод чувствует... только видение-то это вещее было: должен человек один в приходе у нас помереть, и мне было указано сапоги ему сшить. Я пошел к нему, а он и заказал мне. И ему это на потребу, да и мне на пользу вышло... Господь-то всё к обоюдному благу устрояет. Я этими сапогами смерть-то и перехитрю!

— Как так?

— Она к дьяконице подбирается... а я дьяконицу не дам, ни за что не дам! Я ее, смерть-то, в жизни уж два раза перехитрил.

— Как же это было, Макар Иваныч?

— А вот как...

И Макар Иваныч принялся рассказывать.

Незаметно он оказался в центре этой пестрой толпы; все встали или уселись поближе к нему и внимательно слушали, а он поместился верхом на колесе и разглагольствовал:

— В те поры я еще в городе жил, в девяносто втором году это было, ходила по городу холера. Ходит себе холера, косит народ православный, а я хоть бы што... и не думаю о ней, — дело-то Божье. Пускай ходит Божия тварь, на Бога работает. И шел я раз от одного заказчика, — хороший был человек, штабс-капитан Зернов... задатку я от него пять целковых получил, иду. Навстречу мне всё это черные телеги, а я хоть бы што, иду, посвистываю. И вдруг чувствую: подкатило... враз так! И вниз и вверх пошло! Забежал я в один двор, прочистился... опять иду... а меня и корчит, и гнет, и мутит, и весь свет передо мной побежал вправо да влево, как на волнах морских, а нет-нет да и вверх ногами встанет. И дома, и заборы, и телеги, — перепуталось всё, а соборная колокольня точно по небу круги чертит. Ноги подогнулись... вижу: падать учну! Стал я на перекрестке, глаза к небу возвел, шепчу: — Господи, помоги, Господи, научи... шепни, что делать! Смотрю так-то вверх... а на углу дома, на третьем этаже — рука! И показывает эта рука пальцем куда-то... посмотрел я по пальцу, вижу — вывеска: трахтир! Сердце во мне взыграло... шепнул, думаю, Господь-то! Эх, была не была, повидалася... даже сил прибыло. Забежал я еще раз во двор, опростал себя со всех концов, да в трахтир, да в отдельную комнату, да кричу: — рому, коньяку, водки, рижского бальзаму... по-господски што-бы! А там знали меня, смеются: — Макар Иваныч кутит! —

Ладно, думаю... да и ну наливаться. Нальюсь, нальюсь, сбегаю выпростаюсь, и опять наливаюсь, а брюхо ремнем изо всех-то сил стянул. И такое пошло кружение: всё ходит, всё пляшет, и уж где одно лицо — там десять... А потом меня приятель, портной Семен Иваныч, из-под стола достал и домой предоставил.

Макар Иваныч сделал радостный жест.

— Как рукой сняло... во славу Божию!

Все молчали, в задумчивости покачивая головами; только дьякон Божедомов мрачно сказал:

— Враки! Господь пьяницам не помогает. Ибо сказано: курильщики табаку и нюхальщики оного не внидут в царствие небесное.

— Да я, Кирилыч, не курю и не нюхаю.

Дьякон Божедомов гордо пожал плечами.

— Всё равно!

В этот момент Выжигин, всё державшийся возле Макара Ивановича и всё хотевший ему что-то сказать (он никогда не мог подобрать настоящих слов и говорил не те, какие надобно), вскричал высоким голосом:

— У меня... меня... тоже...

И припал ему к плечу, и заплакал.

— У... умер....ла!

Плакал он тяжело, не закрывая глаз, только слезы бежали по лицу.

А кругом него смеялись.

— Мордовка померла, за которую он судился-то... Авдотья... с назадником!

Выжигин повернулся к ним с искаженным лицом.

— Св-вол-лочи! — закричал он сквозь слезы, — она мне... она мне была... она мне...

Но он так и не мог сказать, что она ему, и опять зло, пылко, сквозь слезы выкрикивал:

— Она... она там... лежит... а я... экза... экзаме... я... похоронить не могу... я...

Почему-то смеялись вокруг и баском, и в октаву, а Выжигин нелепо выкидывал свою параличную руку:

— Сво...св-в-во...

Но тут и Макар Иваныч пришел в гнев.

— Что вы бесовским смехом-то смеетесь?

— Да ведь... по любовнице плачет!

— А вы нишкните! Ништо любовница не человек? Христос и блудницу простил... во славу Божию. А вы ништо судьи?

Вокруг смущенно смолкли. А Выжигин хватал Макара Иваныча руками, пытаясь обнять его.

— Ми...лый... она... ведь... она меня... косорукого... она... ведь...

И опять он никак не мог сказать, что она; а Макар Иваныч гладил его, как дитя, по голове и утешал, перебирая разные милые слова и вспоминая знакомых святых. На дворовое крыльцо вышла девочка, пестро разряженная, и звонко крикнула:

— Которые дьячки и дьякона.. батюшка требуют!

Пестрое общество всполошилось и, отряхиваясь, приглаживаясь, оживленной гурьбой направилось в дом. В толпе Ястребов-отец протиснулся к Макару Иванычу и таинственно прошептал ему на ухо:

— А как вы думаете, старик, ежели в Синод подать?

— О чем это, Василич?

— Касательно сундука-то?

Макар Иваныч взглянул на него строго.

— Иди к Богу с чистым сердцем: Он шепнет, что сделать!

Ястребов-отец досадливо отмахнулся.

Зала благочиннического дома, куда собрались экзаменующиеся, была большая, низкая комната, просто обставленная, с обилием старинных стульев, цветами на окнах, портретами владык над старым клеенчатым диваном. Крашеный пол был чисто вымыт, даже лоснился, и тяжелые, пыльные сапоги входивших робко и с опаской по нему ступали. В углу близ изразцовой печи стоял большой ломберный стол с зеленым сукном,

перед ним у стены — кресло для благочинного, и еще три стула для членов благочиннического совета и ассистентов. Дьякона прошли в передний угол к образам, подальше от стола, и с испуганным видом потирали руки, а псаломщики жались позади дьяконов. И никто не решался сесть; важно расселся только дьякон Божедомов. Ястребов-отец схватился было опять с сыном, случайно оказавшимся по-соседству, но их тотчас же испуганно розняли и разъединили. Выжигин всё держался около Макара Иваныча. Макар Иваныч никогда не бывал ни на каких экзаменах, и ему было любопытно и немного страшно, но потом он даже погордился и подумал: — кабы дьяконица посмотрела на него сейчас, как он отвечать будет. А то, что он в ответах блеснет, он нимало не сомневался: службу-то он, слава Тебе, Господи, изучил за восемь лет... а что будут вопросы помимо службы, он даже не подозревал.

Вот дверь стала медленно отворяться; все зашевелились, а потом замерли. Важно вышел благочинный с кипой бумаг; бумаги разложил по столу, сам уселся в кресло. Появился черный, тучный священник с суровым лицом, другой еще толще, так что с трудом протолкнулся в двери, и был собою весь какой-то серый и как бы не живой... и еще один маленький, рыжий, вострый. Все они, говоря полушопотом, расселись за столом: черный рядом с благочинным, а другие по бокам. Благочинный взял какую-то бумагу, не спеша надел очки и, строго взглянув по направлению пестрой толпы экзаменующихся, медленно начал читать консисторский указ, заключавший в себе архиерейское распоряжение о производстве экзаменов для испытания в познании истин православной церкви младших членов клира. Но члены клира ничего не могли понять из этого чтения, потому что благочинный подолгу жевал каждое слово, делал к нему приставки и при этом как бы играл губами на невидимой гармонии.

— А... ар...хиерейский... да-а... вот!

В комнате душно было, и где-то билась большая муха в стекло. Бесконечная, вялая лента слов всё тянулась изо рта благочинного, как у засыпающего фокусника, и казалось, он наматывал ее себе на руку, помогая ею в чтении. Серый батюшка дремал и уж совсем стал походить на покойника. Но вот благочинный положил бумагу на стол, а на нее свою белую, длинную руку и сказал:

— Вста-а-ньте!

Должно быть, это слово полагалось по какой-то программе, так как и без того все стояли. Тогда благочинный медленно поднялся и сам.

— Помолимся-я... пойте «Царю небесный».

Дьякона и псаломщики повернулись к иконам, пропели довольно стройно указанную молитву; но благочинному показалось этого мало.

— Еще моли-и-тву перед уче-е-нием!

Но молитвы этой никто не знал, а кто и знал, давно позабыл. Все искоса посматривали друг на друга и поталкивали друг друга локтем. Походило, что младших членов клира поставили в угол, и они стояли там в смущении, спиною к экзаменаторам.

— Ну? Что-о-о же? — торопил благочинный.

Все молчали.

— Не зна-а-ете?

Кто то глухо отозвался:

— Забыли.

— Ну, тогда я... того... прочита-а-ю... моли-и-тесь!

И благочинный сам принялся читать молитву; но что-то он читал ее очень долго и никак не мог кончить, потому что, подходя к концу, на каком-то слове сбивался опять к началу. Он начал отдуваться и багроветь, и помогать себе руками, будто утопал и пытался выплыть. Наконец, его спас черный священник, подсказавший нужное слово. Благочинный опустился в кресло в крайнем смущении и шептал соседу:

— Какое-е обстоятельство-о... заколдованное место-о!

Сделали поверку и стали вызывать.

— Выжигин!

Псаломщик вышел к столу.

Макар Иваныч смотрел вслед, и ему очень было его жалко... Лицо Выжигина подергивалось, нижняя губа стремилась уйти вперед, и он ее всё втягивал, больная рука была прижата к груди, а здоровая не находила места. Он испуганно взглянул на разложенные по столу бумаги, точно тут собирались судить его, бросил мутный взгляд на черного священника, строго глядевшего на него, опустил глаза и более не поднимал их.

— Ну-у-у, — затянул благочинный, — что вы скажете-е-е... относи-и-тельно... предмета сего-о... как его-о... да-а...

И обернулся к черному священнику:

— Вопрошайте, о. Леонид!

О. Леонид заговорил густым голосом, медленно и отчетливо, словно не торопясь рубил что-то очень твердое.

— Кто был первым праведником?

Выжигин молчал.

Серый батюшка слегка всхрапнул и испуганно полуоткрыл глаза. Из соседней комнаты доносились взрывы смеха и звон рюмок.

— Ну-у-у? — тянул благочинный.

А сам, прикрывши ладонью рот, нагнулся к о. Леониду.

— Уповательно-о... Адам?

О. Леонид отрицательно качнул головой.

Благочинный смутился.

— Так вопросите поле-е-гче...

О. Леонид спросил:

— Кто был Иисус Христос?

Выжигин молчал.

Тут уж рыжий батюшка, выказывавший нетерпение, завертелся на стуле и заговорил скороговоркой:

— Что же вы, воды в рот набрали? Говорите, говорите... отвечайте: кто же был Го-спо-дь на-ш Иисус Христос?

Выжигин молчал.

Рыжий батюшка вышел из себя.

— Да вы в Бога-то веруете? — закричал он.

Выжигин поднял глаза.

— Верую! — шумно прошептал он.

И сделал попытку перекреститься, но рука его ушла куда-то за голову, и все принялись смеяться, а псаломщик густо, до слез вспыхнул. И больше не сказал ни слова.

Ему задали еще несколько вопросов, но, видя тщету своих попыток, с миром отпустили. Однако, отойдя от стола, и уже в дверях, Выжигин обернулся и сказал злобно:

— Буду владыке... жаловаться!

За столом пришли в недоумение, пошептались. Потом вызвали несколько молодых псаломщиков, отвечавших бойко, но невпопад, кроме одного ученого псаломщика, который вдался даже в подробное объяснение «тайны Святой Троицы», и его едва могли остановить.

— Довольно... хорошо.

— Но я должен еще объяснить относительно значения Св. Духа...

— Будет... довольно.

Псаломщик отошел с сожалением.

Макару Иванычу становилось всё больше не по себе. Он прислушивался к вопросам и ответам, и чувствовал себя как бы в дремучем лесу: уж тут дело было не в одном служебном уставе, а в чем-то таком, в чем он не мог и разобраться. Впрочем, он сейчас же и утешил себя: — что не знаю, отвечу по разумению. Из дьяконов не выгонят, и прихода хуже не найдут.

— Ничего... Господь выудит!

Вокруг него уже шептались, что малознающих будут перемещать на худшие приходы, и лица у всех были растерянные, кроме дьякона Божедомова, который был уверен в себе непоколебимо.

Вызвали Божедомова. Вышел он гордо, и на вопросы отвечал с оттенком даже некоторой важной снисходительности.

— Кто был первым праведником? — повторил свой вопрос черный священник.

Дьякон ответил, не задумываясь:

— Сатанаил!

Благочинный даже раскрыл рот в виде буквы о.

— Сатана-а?

Дьякон важно подтвердил:

— Да!

— Из каких же это вы святцев взяли? — сурово усмехнулся о. Леонид.

— Из книги Живота, сиречь Библии.

А рыжий батюшка суетился:

— Пусть объяснит, пусть объяснит... пусть!

Божедомов улыбнулся гордо.

— Всуе объяснять... сие речено бысть! Когда еще ни неба, ни земли не было, а уж немец на заборе трубку курил.

— Что-о? Что-о?

— Какой немец?

— Обыкновенный немец... который трубку курит. А как звали, — не сказано.

Рыжий батюшка даже взмахнул руками от негодующего волнения.

— Да причем тут немец?

— Имеяй уши слышати, да слышит. Сие — притча. Сатанаил-то кто? Еще когда ни неба, ни земли не было, а уж он ангелом был... кто же первый праведник-то?

Невольно все засмеялись, даже серый батюшка

ожил и проговорил каким-то могильным голосом, не шевеля губами:

— Вот так дьякон: чорта в праведники произвел!

Но смех этот возрос до удушливого хохота, когда дьякон на вопрос:

— Кто виновник первородного греха?

Ответил с важностью:

— Адам... и его мадам.

И при этом смотрел победоносно.

Но дальше стало уже и трудно иметь с ним дело. Он знал решительно всё, и ни перед чем не затруднялся, отвечал обстоятельно, со множеством славянских речений, но никак нельзя было понять, о чем он говорит. Благочинный даже побагровел и нервно гладил себе бороду, зажимая ее в кулак и постепенно выпуская. Он перебивал дьякона просьбою: ответить непосредственно на вопрос.

— Спрашивайте, — гордо говорил дьякон, — я всё знаю!

— Да ведь я же вас и спра-а-шиваю: для чего-о сходил на зе-е-млю Господь наш Иисус Христо-о-с?

Божедомов презрительно улыбался и с оттенком превосходства и снисходительности начинал говорить, что диавола зовут «иский кого поглотити», ибо он рыщет, подобно тати, в нощи. В писании же сказано: «ржа не точит и тать не подкапывает».

— Ну, хорошо. А для чего же Христос-то сходил?

Дьякон торжественно поднял палец:

— Имеяй уши слышати, да слышит!

Его, наконец, оставили в покое. Он гордо удалился, и Макар Иваныч слышал, как ученый псаломщик, смеясь, прошептал ему:

— Да вы хоть бы сказали: для того, мол, чтобы тать не подкапывала.

Божедомов ответил презрительно.

— Много будут знать!

Макар Иваныч притомился, отошел в уголок и при-

сел за толпой на стул, предаваясь грустным размышлениям о дьяконице, как вдруг в зале поднялся великий шум. Вызвали дьякона Ястребова. И как только Ястребов вышел к столу, он положил на стол сложенный в четверо лист бумаги и быстро начал говорить, не дожидаясь вопросов, что сын его в могилу сводит.

— Да здесь не су-у-д! — сказал благочинный.

— В суды-то я подавал... через вас же, ваше высокоблагословение. Двенадцать лет, ваше высокоблагословение!

— Здесь экза-амен!

— Какой мне экзамен... Я лысый человек! Яко Елисей. И уж от горя всё перезабыл. Ерусалимский сундук, ваше высокоблагословение... матерно наследство!

Из толпы раздался грубый голос:

— А кизяк кто сжег?

Дьякон обернулся и вспетушился.

— Ты вор! Ты вор!

— А ты сжигатель!

За столом пришли в волнение. Благочинный метал руками, как на шарнирах; черный священник вскочил и грозно кричал, чтобы замолчали, но Ястребов-отец прыгал у стола, грозил сыну и вопиял:

— Иди, иди сюда... к суду!

— Иду!

— Иди, иди, вор!

— Иду, сжигатель!

Сын выступил из толпы. В волнении он засучивал рукава своей черной рубахи, как бы готовясь к сражению; лицо его, круглое как блин, выражало свирепость, на всё готовую. Он шел, твердо ступая пыльными сапогами.

— Отдай мой кизяк!

А дьякон наскакивал на него:

— Отдай мой сундук!

— Навоз мой верни!

— Матерно благословение вороти!

К ним сбежались дьякона и псаломщики, ухватили их за руки, благочинный что-то кричал, и кричал о. Леонид, и суетился рыжий батюшка. Кончилось тем, что пришлось удалить сына из комнаты, и дьякон тотчас остыл. Ему долго объясняли, что здесь собрались по владыкину распоряжению для испытания низших членов клира в писании. Дьякон моргал глазами и грустно улыбался. Когда же благочинный задал ему вопрос:

— Кто предал Иисуса Христа-а?

Дьякон горячо заговорил:

— Я лысый человек, ваше высокоблагословение.

— Ну так что-о-о же?

У дьякона выступили слезы.

— Мне шестьдесят шесть лет, ваше высокоблагословение!

Благочинный совсем рассердился.

— Я спрашиваю-ю: кто предал Иисуса Христа-а?

— Иерусалимский сундук, ваше высокоблагословение... матерно наследство... прошу принять меры! Все суды прошел, ваше высокоблагословение... где правда? Двена-а-дцать лет...

На него махнули рукой.

Наступила торжественная минута для Макара Иваныча.

— Павловский дьякон Коловоротов!

Он чинно, не спеша, вышел к столу. Повернулся, помолился на образ, затем поклонился сидящим за столом каждому в отдельности. Вынул свои круглые очки, почему то дунул на них, оседлал ими нос и воззрился на благочинного.

— Готов, во имя Господне!

Всё это было сделано чинно и торжественно. Духовные даже переглянулись: вот, дескать, наконец нашли мудреца, с которым будет легко. Благочинный сделал рыжему батюшке знак вопрошать. Рыжий батюшка не спросил, а выпалил:

— Что значит выражение: Троица-Еди́ница?

Дьякон посмотрел с сомнением.

— Троица?

— Да, Троица-Еди́ница.

Дьякон подумал.

— Троицу-то я знаю, — задумчиво и медленно проговорил он.

— Ну?

— Это Саваоф, и Сын его Христос, и еще Дух Святый. А Еди́ницы не знаю... Бог ее ведает, что это такое! — добавил он со скромной наивностью.

Духовные опять переглянулись и улыбнулись. Рыжий батюшка опять спросил:

— Сколько в православной церкви таинств?

Дьякон склонил голову и подумал.

— Сколько их, в точности не скажу, а пересчитать могу.

— Считайте.

Дьякон поднял руку и, загибая пальцы, перечислял:

— Крестины, похороны, бракоповенчание... обедня, вечерня, всенощное бдение... и сошествие на землю Господа нашего Иисуса Христа.

Он опустил руку.

— Итого семь.

Благочинный развел руками и хлопнул себя ими; о. Леонид сделал жест негодования, а серый батюшка внезапно ожил и затрясся от смеха.

Дьякон поправил очки и с наивностью спросил:

— Ништо, ошибся... во имя Божие?

— Почему же, — грубовато спросил о. Леонид, — сошествие вы считаете за таинство?

— Непонятно сие уму человеческому.

— А разве вознесение понятнее? Или, например, сошествие во ад? Может быть, и это таинства?

На это дьякон ответил уже с уверенностью:

— Нет.

— Да почему же?

— Вознестись то легче, ибо и всякая душа человека по преставлении возносится... в обители райскии... или во ад спускается с помощью муринов. А как Господь-батюшка в плоть облекся, — непонятно... таинство!

Благочинный нашел, что вопросы задаются не по разумению вопрошаемого, и сам потянул из себя длинную ленту вопроса:

— На чем пла-а-вал... да-а... плава-а-л Господь на-а-ш... Иисус Христос по озер-у Генисаретскому-у?

Дьякон слегка закрыл глаза, представил себе реку, шнырящия по ней суда, и ответил без промедления:

— На пароходе!

Ответ был такой неожиданный, что собрание не выдержало, не выдержали дьякона и псаломщики, поднялся общий хохот. Но дьякон нисколько не смутился и весело оглянулся:

— Вот и хорошо, развеселил... во славу Божию!

Смех был продолжительный, а потом рыжий батюшка сказал:

— Помилуйте, о. дьякон, разве ж тогда были пароходы?!

Дьякон сокрушенно развел руками, как бы снимая с себя всякую ответственность.

— Пароходы, — строго сказал черный священник, — суть изобретение прошлого века. В те же времена люди плавали попросту, на кораблеце.

Дьякон обрадовался.

— Вот верно. А попросту-то и лучше!

Тут серый батюшка, стирая платком с глаз слезы, выдавленные смехом, заговорил могильным голосом, не шевеля губами:

— А дьякон-то мне нравится. А сем-ка я вопрошу его.

— Вопрошайте, о. Виталий.

— Ответь-ка, дьякон: апостолов знаешь?

— Как же не знать-то...

— А в чем их призвание и чем они занимались?

На это дьякон ответил немедленно:

— По специальности.

— Какой? — воззрился рыжий батюшка.

— Фома столяр был.

— Откуда это ты знаешь?

— Индейскому царю дворец строил. А Петр рыбак был. А кои, может, портными и сапожниками были, неизвестно. Знаю только, что все люди простые и неученые, но чистые сердцем своим.

— Не то-о, — наморщился благочинный.

И уныло потянул свою ленту:

— Не то-о-о... тут спра-а-шиваю-т... да-а... почему апостолы-ы... да-а, апостолы-ы... называются апо-о-о-столами-и?

Дьякон задумался.

— По специальности, — повторил он неуверенно.

— Ка-ко-о-й?

Дьякон чувствовал, что взмок, и первый раз опустил голову. Но тут взгляд его упал под стол, и ему мелькнула блестящая мысль. Он продолжал смотреть под стол и ухмылялся.

— Что-о-о же молчи-и-шь? — уныло говорил благочинный.

— Да вот на сапожки ваши смотрю. Заплаточки-то плохо приспособлены...

Благочинный увел ногу под рясу и сердито насторожился.

— А тебе что-о?

— Да ведь я же, — радостно сказал дьякон, — мастер! В городу у меня, восемь лет назад, на Николаевской улице собственная мастерская была. Я на губернаторшу раз полусапожки делал... с выкрутасами. Не говорю уже о господах военных и купечестве, на соборного протоиерея, о. Виноградского, покойничка, царство небесное, обувь шил... а ножка-то у него деликатная, с мозолью! Так он, бывало, наденет и скажет:

мерси, чадо мое! На владыку только не шил, доселе скорблю...

И дьякон лукаво подмигнул.

— Хотите, ваше высокоблагословение, я из этих-то сапожков вам атанде с канифолью сделаю?

Благочинный смотрел во все глаза и даже как бы растопырился.

— Что-о? Что-о?

— За первый сорт обсоюжу!

Благочинный нерешительно вывел ногу из под рясы и взглянул на сапог.

— А разве еще мо-о-жно-о?

— Товар издали вижу... опоек добрый. Ежели гамбургские союзки наложить, еще век проносите.

Дьякон поднял палец.

— Во славу Божию!

Благочинный стал медленно расцветать улыбкой; рот его открывался, как бы на шарнирах, и оттуда полился медленный, басовитый, отрывистый смех:

— Хха...хха...хха!

И все духовные за столом смеялись, и почему-то посматривали на свои ноги. Серый батюшка совершенно ожил, как бы воскрес из мертвых, весь дергался и трепыхался на своем стуле и уже рукой смахивал с глаз слезы. Рыжий батюшка как бы сыпал горошком, и сурово улыбался даже о. Леонид. А благочинный все отрывисто гудел:

— Хха...хха...хха!

Он перестал даже напоминать механическую куклу, и речь его оживилась.

— Посто-й, по-стой... чудак-дьякон! А как же экзамены-то? На вопрос то отвеча-й: почему апостолы-ы называются апо-о-столами?

Дьякон опять лукаво подмигнул.

— Да я уже сказал: по специальности. Вот я сапоги умею шить... а дьякон, Богу служу! И они служили Богу.

— Как?

Дьякон развел руками.

— А уж этого я не знаю. Кои, может, священниками были, кои дьяконами, кои дьячками. Думаю только, что Павел у них непременно архиереем был, потому — писал очень много; доселе его письма по церквам читают, вроде как бы резолюции: чтобы жена мужа боялась... и подобное, что во славу Божию!

Благочинный уже стал напоминать иерихонскую трубу:

— Хха...хха... дово-о-льно... хорошо-о!

Встал и кричал:

— Перерыв! Перерыв!

И махал рукою на дьяконов и псаломщиков, чтобы они уходили. Дьякон пошел было за другими, но благочинный сказал ему:

— А ты... того-о... оста-а-нься-я!

V

Духовные окружили дьякона и повели в столовую, где в облаках табачного дыма он увидел множество духовных персон, смутно рисовавшихся, а у стены большой стол, сплошь уставленный винами и закусками. И когда благочинный, с любезностью автомата, проводил дьякона сквозь толпу к столу, дорогу им, как огромная тень, загородил невероятной вышины священник и, воззривши на дьякона с высоты своей, загудел, как громадный шмель, слегка покачиваясь:

— Кого вижду?! Да неужто ж... Макар!

Макару Иванычу пришлось по козлиному задрать голову кверху, чтобы разглядеть, кто говорит. И он в волнении и в радости прокричал тоже как-то по козлиному:

— Переверзев! Боже мой!

Переверзев широко разбросил руки, задевая соседей.

— Пр-риди... почеломкаемся, Купало!

Дьякон тоже разбросал свои маленькие ручки, но прийти ему было трудно, так как, по замечанию кого-то из присутствующих, на колокольню можно всходить только по лестнице. Так стояли они некоторое время и смотрели друг на друга растроганно, а вокруг них грудилась толпа. Наконец, колокольня соблаговолила согнуться в три погибели, и дьякона обдало запахами всевозможных вин и закусок. На минуту он как бы исчез в массе жестких кудрей и в вихре объятия, даже приподнявшего его с пола. Объятия раскрылись и колокольня выпрямилась, оставив Макара Иваныча слегка помятым и как бы во все места контуженным. Потирая бока, он говорил радостно:

— Откуда? Откуда? И иерей... во славу Божию?

— По чину Мельхиседекову, Купало!

— Да как же? Когда? Почему?

Переверзев махнул рукой, точно зацепил что-то с потолка и бросил на пол.

— Все, брат, пропилеи прошел... вот и допропилеился!

Вокруг хохотали, а Переверзев гудел:

— Выпьем... как в прежние времена, когда во Иордани купался.

И Переверзев взял дьякона под руку и повлек его к столу, как повар петуха на заклание. Их окружили и дьякон сделался центром внимания: ему предлагали то одну бутылку, то другую, и каждый хотел ему налить.

Но дьякон твердо сказал:

— Нет. Я владыке обещал не пить!

И торжественно поднял руку.

— Я своему слову хозяин... во славу Божию!

И тут же ему пришлось объяснять, как это произошло, как он купался во Иордани, и как из сапожников попал в дьякона. И слушать это было так весело,

что комната наполнилась хохотом и гамом, и облака дыма волновались. В рассказ дьякона впутывался Переверзев и уверял, что дьякон в одну прорубь нырнул, а в другую вынырнул. Дьякон оспаривал это, а Переверзев стал клясться и божиться, что он сам видел. Тогда дьякон вышел из затруднения, сказавши, что Переверзев был тогда в таком состоянии, что всё видел в двойном количестве. Переверзев впал в задумчивость и с высоты своей прогудел:

— А возможно...

Где-то, сквозь шум, слышался тягучий басок благочинного:

— Ве-е-ра-а!

— Ты что, Иван Петрович?

— Поди-и-ка сюда-а... я тебе восьмое-е чудо све-е-та покажу-у!

— Сейчас, Иван Петрович, — я пельмени доделываю.

Серый батюшка в комнате у стола превратился совершенно в живого человека, он не отходил от дьякона, и всё похохатывал, как бы извлекая смех откуда-то из живота, и, наконец, заговорил, не шевеля губами, своим могильным голосом:

— А ты мне, дьякон, нравишься... А сшей мне сапоги!

Дьякон радостно обернулся.

— Могу... во имя Господне!

Серый батюшка отвел дьякона в сторонку и объяснил ему, что сапоги ему нужны особенные, почти круглые, совсем без фасона, ибо ноги его страждут, и им нужен покой.

Дьякон ответил уверенно:

— Кареты сделаю.

— А то-то... съумеешь ли?

— Не извольте беспокоиться... не сапоги будут, а владыкины покои!

Серый батюшка от удовольствия опять стал извле-

кать из живота смех. Дьякон почесал в затылке, посмотрел на него искоса и осмелился:

— Задаточек бы...

Серый батюшка мгновенно как бы опять превратился в покойника. Лицо его вытянулось и застыло, он закрыл глаза и произнес откуда-то из глубины могильным голосом:

— Сколько?

— Да сами посчитайте: головки стоят три семьдесят, а получше и дороже, — объяснял дьякон профессиональным тоном, — ну, там подошва... поднаряд нужно, гвозди, то, се. Рублей пять надо бы...

Постояв в виде мумии, серый батюшка медленно открыл глаза.

— Рупь!

— Да помилуйте... что же на рупь сделаешь?

Серый батюшка опять закрыл глаза, на некоторое время умер и глухо произнес могильным голосом:

— Два!

Но тут дьякона как бы ветром унесло в другую сторону: Переверзев подхватил его под руку и, подобно духу бури, увлек его в укромный уголок. Серый батюшка еще раз повторил могильным голосом:

— Два?

Но, раскрыв глаза, увидал перед собой пустое место, и некоторое время стоял в недоумении. Переверзев же в это время в углу таинственно говорил:

— Гляди!

И выставил из-под рясы столпообразную ногу в широчайших шароварах, показывая сапог, сплошь состоявший как бы из ран, плохо забинтованных полуоторвавшимися заплатками.

— Можешь?

Дьякон впал в недоумение, и посоветовал сделать новые; но Переверзев на это сказал, что приход у него бедный, и больше двух рублей он на это дело ассигновать не может. И говорил еще, что сапоги ему нужны

только для параду, а дома он, ради экономии, босиком ходит, дьякон же, по старой их дружбе, должен услужить ему.

— Помнишь, как я тебя из проруби-то вытаскивал? А два рубля хоть сейчас получи.

— Ну, — сказал дьякон, — давай... из остатков товара такие латки налажу... на прием к архиерею идти не стыдно.

— Хорошо сделаешь?

— Как генерал-лейтенанту!

Дьякон в ту же минуту поднялся в воздух и некоторое время как бы носился и погибал в жестких кустарниках и пролетал по винным погребкам, где ему в самое ухо как бы ревела буря:

— Ведь, я тебя люблю, Купало!

Наконец, весь измятый, он опустился на землю, а Переверзев гудел ему:

— Сейчас и сапоги сниму.

— А как же вы...

— А я калоши надену.

Серый батюшка уж опять вертелся возле и говорил своим мертвым голосом:

— Три!

Но дьякона уже стали брать нарасхват. Батюшки один за другим тянули к себе дьякона, совещались с ним то публично, то отведя в уголок. Один жаловался на тесноту в подъеме, другой на какие-то «всеместные нажатия». Не успел и опомниться дьякон, как у него уже были кучи заказов, приглашений приехать, чтобы и семейство обшить, а в карманах зазвучало серебро и злато в таком обилии, что дьякон уже не закрывал рта в веселой улыбке, и напоминал человека весьма подвыпившего. Где-то достали газетный лист и ножницы; дьякон нарезал тонких полосок, набил ими карман и принялся снимать мерки. Черный священник тоже отвлек дьякона в угол и говорил, что он тайком ходит на охоту и нужны ему к сапогам длинные голенища. Но он

рядился так, что измучил дьякона, прибавлял по гривеннику, по двугривенному, так что дьякон взмок. И всё-таки из-за рубля разошлись. Потом все потянулись к столу и принялись выпивать с шутками и прибаутками. Дьякон тоже осмелился. Он давно уже посматривал на сардинки, и поднявши одну на вилку, понес ее ко рту... но враз остановился, медленно положил ее обратно, взял остатки газетного листа, свернул его пакетиком и, лукаво мигнув духовным, снова подцепил сардинку.

— Не прегрешу?

— На дорогу, что ли, дьякон, запасаешь?

— Нет, я... дьяконице... она у меня...

Слова его потонули в веселом шуме

— Клади, клади еще...

— Бери!

— Вот язык копченый...

Переверзев совал ему балыка.

— Прячь... благочинный-то богатый!

У дьякона образовался большой пакет, и он совал его в карман, радостно улыбаясь.

— Старуха-то будет рада... во славу Божию!

В это время вышла и матушка. Она была толстая, румяная, веселая, с черными глазами, а лицо у нее чуточку в муке.

— Рекоменду-у-ую, — тянул благочинный, — вот на-а-ш духовный — мастер са-а-пожных де-л!

— Рада, рада, — любезно говорила попадья, пожимая дьякону руку, — оставайтесь с нами пельменей откушать... сейчас вот, как экзамены они кончат.

— Нет, спасибо, не могу.

— Остава-а-йся-я, — гудел благочинный.

— Нет, — упрямился дьякон, — мне к старухе надо... она у меня скушливая. Вот покупки сделаю, во имя Господне... и домой. Батюшка, — обернулся он, — скоро поедем?

— Да как управитесь, о. дьякон.

И дьякон наотрез отказался от пельменей. Тогда

матушка сказала, что она сейчас сварит ему хоть тарелочку, и побежала в кухню, и скоро вернулась с дымящейся тарелкой пельменей. Дьякон уселся с ними в уголок к столу, чинно и скромно кушал их, прислушиваясь к шуму, наполнявшему комнату, а сам думал, что хорошо бы пельмени-то захватить дьяконице, да не довезешь их, и тут же решил расспросить матушку о способе их приготовления, чтобы самому приготовить дьяконице и тем поразить и порадовать ее. И думал он также о том, что вот как хорошо всё устроилось: теперь он доктора, обязательно самого доктора, пригласит и на ямских его доставит! И он запускал руку в карманы, нащупывал там деньги и радостно шептал с набитым пельменями ртом:

— Господь-то... в самую точку шепнул!

Между тем шум в комнате начал принимать характер всеобщего спора, и даже как бы ссоры. Повод подал рыжий батюшка, который где-то конфиденциально беседовал с черным священником об экзаменах, находя их совершенно для низшего причта ненужными и даже смешными. На это о. Леонид возражал, что низшие члены клира суть солдаты церковной армии, и должны в совершенстве знать весь церковный, как он выражался, артикул, экзамены же подвигнут их к его изучению. Отсюда разговор перешел каким-то образом к войне; священники стали прислушиваться и вставлять свои замечания, причем Переверзев прогудел какую-то еретическую мысль.

И тут-то воспалился спор. Шаркая по комнате огромными калошами, Переверзев гудел, как гигантский шмель.

— Коли, руби, выворачивай кишки... а для чего же в колокола-то трезвонить?

Ему стали шумно возражать, а серый батюшка почему-то принял эти слова за личное оскорбление, так как он служил когда-то полковым священником. Он опять стал напоминать человека внезапно воскресшего,

причем и руки, и ноги, и живот заходили у него как-то в отдельности; он выбросился петухом на середину комнаты, встал перед Переверзевым, задрал кверху голову и принялся выкрикивать в высоту, где перед ним сквозь табачный дымок маячила как бы голова Голиафа.

— Не по Господню ли повелению истреблены амаликитяне, филистимляне, аммонитяне...

И он перечислял ряд имен, давно исчезнувших с земли. А голова всё маячила над ним и как бы два огненных фонаря смотрели на него сверху. И вот вверху там как бы загудела труба на самых низких нотах.

— Да ведь то было... до Христа! А Христос чему учил?!

Серый батюшка продолжал что-то яростно кричать, но его перебил черный священник. Он заговорил сурово, строго, раздельно, словно рубил что-то очень твердое:

— Это верно, что Христос сказал: несть эллин, несть иудей... сиречь в церкви Божией. Но ведь воюют-то не церкви, а государства!

Переверзев гудел:

— А если государства-то христианские? Как же они, проливши кровь, одного и того же Христа за победу колоколами-то благодарят?

Серый батюшка всё прыгал перед ним, как веселый покойник, потрясал и руками, и животом, и кричал как бы откуда-то из подполья, не шевеля губами:

— Ведь воюют-то народы из-за правды... как же им за торжество правды Бога-то не благодарить? Правильно говорю я или неправильно?

Он оборачивался ко всем, мелькая, как серая ракета.

— Правильно или нет?

Духовные шумным хором говорили:

— Правильно! Совершенно правильно!

И благочинный тягуче подтвердил:

— Пра-авильно-о, о. Витали-и-й!

Но какой-то козлиный голосок сквозь шум кратко произнес:

— Неправильно!

Все обернулись, и вдали, в углу за столом, увидали дьякона. Откушав пельменей, он скромно утирал платком усы и лукаво подмигивал:

— Простите меня простеца, а только это по-моему... во имя Господне... неправильно.

— Молодчина, Макар, — радостно загудел Переверзев, — а ну-ка обнаружь свою правильность.

Все к дьякону придвинулись и с интересом ждали, а серый батюшка очутился впереди и смотрел на дьякона с таким выражением, словно говорил:

— А ты мне, дьякон нравишься...

Дьякон чинно начал, нисколько не смущаясь обилием чиноначалия.

— Дерутся люди Божии потому, что они искони дракуны и забияки. А Христос-то-батюшка приходил мирить их. Сказано было, когда он родился: в человецех мир и благоволение... В стары-те годы, в молодые, я тоже был большой дракун и забияка номер первый. Бывало, как придет зима, да станет лед настоящий, и пойдут городские войной на слобожан. Слободка-то на той стороне, город-то на этой... народу уймища, стоят с обеих сторон, а посреди пустое место. Тут тебе руготня, тут тебе смешки да насмешки. Слободские кричат: — «колокольню съели, архиереем закусили». А городские точно на скрипках пилять — «сало-мышка-кошкодер, бар-рабанна шку-у-ра»! Уж либо те, либо другие не стерпят, да и ну друг на друга стеной. И впереди от слободских-то бондарь Вавило идет, первый боец, человек тушный и рыжий, не идет, а валится, прет, как бык, и глаза навыкат, красные, и дышет с хрипотой, и ревет, как змей-горыныч: — бей! И по глазам видать: ничего человек не видит, не в себе человек, только кулачищами машет... и перед ним — улица. И так пройдет скрозь, и назад пойдет, переулки

делает... ползет позади него народ, и кровь свою снегом оттирает. А по нему-то удары, как по перине, звучат, назад отскакивают. И был от нас, городских, на него аппанент, золотых дел мастер Крюков, покойничек теперь, царство небесное. Жилистый был человек, как из стальных канатов свитый, по нему-то удары гудом-гудели, а он хоть бы што! Кричим бывало: — заступай, Миколаич!.. Вот и прет Миколаич, руки длинны, до колен, чуть сутуловат, а коленки как-то врозь, точно крадется. Да тигром метнет! Взревут оба. Тот медведем навалится. Этот зайцем шмыгнет, да волком набросится. А тот, как слон, тупотит! Этот змеей обовьется, сожмет, да бросит, да отвалится... а тот только, как дуб от бури, покрутится, да шарахнется, да и придавит... а уж этот, гляди, на нем верхом сидит, да по затылку спрынцует. А тот, как лошадь ломовая, лягнет, да стряхнет его... и опять друг перед дружкой стоят, только почесываются, — начинай сначала. Так бывало и разойдутся, ни тот ни другой верху не возьмут, а уж другие с ними и не тягаются. Вот и случилась раз беда. Повздорил Крюков с городовым, мордобойно повздорил, и чуть его не прикончил. И засадили раба Божия. Приходит воскресенье, бою начинаться, а предводителя нашего нет! В разброде народ-то, волнуется, а слободских прет сила несметная: знали они про Крюкова-то, и удумали расшибить нас. Забоялся наш народ; а я тогда воитель был, и взяла меня ажно злоба и тоска. Взобрался я на плечи к приятелю, портному Семену Иванычу, да и ну кричать:

— Городские люди православные! Неуж свое место выдадим на поруганье... вали, ребята, на врага, Бог за нас!

С плеч-то долой, да вперед бегу, а за мною вал-валит, с криком, с ревом, да столкнулись, да пошла стукатень... гляжу, а прямехонько на меня Вавило прет, кулачищами машет, улицу раскладывает, глазищи красны, ничего не видят. Взыграло во мне сердце... Эх,

думаю, во имя Бога и святых Его! Согнулся, да скоком на него, да с разбегу головой в брюхо... только охнул человек, об лед ударился, да тут же и размяк: лежит, как куча мяса, не шелохнется, только брюхом тяжело водит. Слободски-то увидали, да и расстроились, а наши на них, да и ну гнать... разбили, расшибли, а одного человека и на смерть разуважили. Вавило же в те поры захворал, и долго животом маялся. А меня совесть взяла: что ж, думаю, из-за чего это всё? И так пошло мне смущение дале да боле, размышлять я стал... и вижу: втуне людие злобу плодят, неведомо с чего, только-што на разных берегах живут, да удальством своим бахвалятся. И жалко мне Вавилу-то. В тоску я впал... пить зачал. И вот напало раз на меня в таком-то виде мечтание сонное: будто приходит ко мне святой, — какой святой не ведаю, а будто лицом на меня похож, вот словно в зеркало смотрюсь... а вокруг головы сияние. И смотрит он будто на меня, и плачет, горько-прегорько плачет, а ни слова не говорит... и сгинул. Проснулся я, подхватился, да бегом в слободку к Вавиле, да в ноги ему пал, плачу, а сам кричу:

— Прости! Прости! Согрешил перед тобою!

А он к стенке отвернулся... с тем я и ушел.

Да месяца через два поправился он, ходить зачал, и встречается раз со мной на толчке, посмотрел так жутко да страшно, да вдруг подходит и в пояс кланяется.

— Прости и ты меня!

И пошел.

А я догоняю.

— Вавило, — говорю, — что ж ты тогда-то не простил?

Взглянул он на меня красными глазищами, хрипит:

— Ко мне во сне святой приходил, на тебя лицом схож... после тебя-то.

Да и зашагал от меня, точно вол попер. Да вдруг

опять обернулся, да ко мне, и на глазах вижу слезы, обнял он меня.

— Впрям прости, — говорит, — с чего мы враги? Дурость в нас говорит... а ведь мы о Христе братья!

Так мы и помирились, во славу Божию.

Дьякон смолк. А потом лукаво подмигнул.

— Вот и рассудите: что приятнее, и в чем правильность состоит!

Среди духовных поднялся веселый шум и смех, раздались возгласы, что дьякон-то рассудил правильно. Серый батюшка во время рассказа несколько раз умирал и опять воскресал, а теперь совсем воскрес и кричал могильным голосом, не шевеля губами:

— А верно! А ты умный, дьякон!

Переверзев же пришел в неистовый восторг, кричал, что «наша взяла», сбросил с ног калоши и, к ужасу благочинного, принялся швырять их в потолок; потом бросился к дьякону, подобно льву рыкающему... и дьякон взвился куда-то под облака, носился в неведомых пространствах, когда же очутился снова на земле, поспешил, под шумок, к выходу

Уж близился сероватый вечер. Нужно было торопиться, и дьякон быстро зашагал к базару, и в знакомой лавке долго выбирал товары: головки, подошвы, гвозди, колодки, шила, дратвы, клей и много других необходимых предметов, и потом долго и отчаянно рядился. А когда вышел из лавки, уж и заря потухла, и смутно рисовались люди, там и сям еще торговавшиеся у ларей и прилавков. Да и людей было уж мало, — только в одном месте базара, в тесном проходе меж лавок, грудилась толпа с неистовым криком, почти ревом, волновалась, как бы расплывалась и опять сливалась. Дьякону показалось, что там кого-то бьют: но он отнесся к этому спокойно и, по пути, с громадным узлом подмышкой, направляясь к доктору, приостановился и взглянул через головы толпы. Поднимались руки и на кого-то опускались, и сначала дьякон не мог рас-

смотреть, — на кого, но вдруг перед ним мелькнуло знакомое черное лицо, и на миг огненный глаз обжег его.

И дьякон принялся вопить:

— Не троньте его, ребята!.. Это мурин! Перекрестите его, он рассыпится.

Кто-то рядом сказал:

— Это коновал... он у мужика лошадь уморил.

Но дьякон вопил:

— Это бес! Я знаю его!

Коновал метнул из-под черных век на него такой багрово-пламенный взгляд, что дьякон в испуге перекрестился и забормотал:

— Чур, чур меня! Рассыпься, во имя Божие!

В тот же момент коновал сделал такой отчаянный жест своими черными руками, что мужики разлетелись в стороны. Он бросился на них, расшиб, разметал их, и в три огромных прыжка ускочил в переулок. Туда с гамом бросились, но его уже нигде не было.

— Я говорил: бес — возбужденно кричал дьякон, — видите, видите, он сквозь землю провалился. Он у меня чуть дьяконицу не погубил... да спасибо, что я хитрый, только курицей отделался...

Мужики благодарили дьякона и говорили, что в другой раз они уж будут знать, пусть им этот оборотень не попадается: они его так перекрестят, что уж он обязательно рассыпится.

Дьякон шел по темной улице и бормотал.

— Хорошо, что тогда Господь дьяконице-то шепнул... здорового я дал бы маху!

Достигши цели своих тайных стремлений, — широкой, новой с иголочки, земской больницы, — дьякон с душевным трепетом и даже с благоговением вошел на крыльцо, ступая на носки сапог, увидел блестящую дощечку на двери, надел свои круглые очки и с трудом разобрал надпись: «земский доктор Валерьян Павлович Чижов».

— Чижов? Чижов? — задумался он, — что это за Чижов? Знакомое что-то...

Посмотрел, нет ли звонка, нашел его и позвонил. Долго не отзывались, а потом вышла прислуга и сказала, что доктор сейчас не принимает. Но дьякон настаивал, приводил всякие резоны и говорил, что духовную персону доктор должен принять. Прислуге это показалось убедительным; она провела дьякона в темную приемную и пошла с докладом. Дьякон остался в темноте, со своим узелком подмышкой, скромно стоял и думал, что его теперь уже не выкурят отсюда иначе, как с доктором, потому что его к этому сам Господь привел. А в соседней комнате смутно слышался чей-то недовольный мужской голос, а потом смех.

— Какая персона? — спрашивал голос, — что за персона?

— Духовная-с... они так сказали.

— Ха-ха-ха!.. персона, значит? Ну, дай туда свет, взглянем на персону.

Прислуга внесла лампу, поставила на стол.

Сейчас же вышел и доктор:

— Что угодно? С кем имею честь?

— Дьякон я, дьякон... во славу Божию. К вашей милости с покорнейшей просьбой.

Дьякон поклонился чинно в пояс и принялся пространно рассказывать про старуху и про то, что он не верит в старухины речи, будто у ней душа на кончике света держится, а что во всем воля Божия, а воля Божия его сюда и привела.

— Воля Божия? — поднял доктор брови.

Это был упитанный толстяк, еще молодой, с лицом бритым, очень довольным и веселым: когда он смеялся, его щеки превращались в яблоки.

— Ну, уж нет, о. дьякон, — звучно и сочно рассмеялся он, — на эту удочку вы меня не подденете! А меня воля Божия заставляет здесь остаться: у меня больница на руках, мне за сорок верст скакать некогда.

Дьякон пришел в ужас.

— Как же так... во имя Божие!

— Привезите сюда.

— Можно ли такого болящего с места тревожить... ведь я вам объяснял!

— А сам я не могу.

И доктор сделал серьезное лицо.

— Чем еще могу служить?

Дьякон в смущении опустил голову, посмотрел куда-то вниз, под ноги доктору, и вдруг расцвел улыбкой во всё лицо.

— Так не поедете?

— Честью заверяю вас, о. дьякон, не могу за сорок верст тащиться... у меня больница на руках... прием. А вы чего смеетесь?

Дьякон еще более расцвел:

— А позволю себе спросить вас, Валерьян Павлович, вы не в нашем городе учились?

— Да, — сказал доктор, немного удивившись.

— А вы не Павла Миколаича Чижова сынок?

— Да, его...

— А не знавали ли вы на главной улице, на Николаевской, сапожника одного, Макаром Иванычем звать?

— Нет, — пожал плечами доктор, всё более приходя в недоумение: — был там в городе какой-то мастер, очень искусный, говорят, на отца шил, и на меня... помню только, что он... вот вроде вас, такой же маленький, и фамилию даже помню.

— Какую-с?

— Коловоротов.

Дьякон зарделся и положил себе руку на грудь.

— Он!

— Кто?

— Это я и есть Коловоротов!

Доктор смотрел во все глаза. А дьякон поднял руку вверх.

— Валерьян Павлович! Спасите дьяконицу... Всемогущим Богом клянусь: такие вам сапоги сделаю, во имя Господне, — во век не износите!

Доктор всплеснул руками и принялся хохотать. Он упал в изнеможении на стул, и еще долго хохотал, до слез, а потом принялся кричать в другую комнату:

— Душенька!

— Ну, что тебе, дружок? — лениво отозвался женский голос. — У тебя там что-то весело?

— Поди скорей, Душенька!

Ленивой походкой вышла женщина с книгой в руках, полная, красивая, но с лицом очень ленивым: и улыбнулась она лениво, и точно каждую минуту готова была упасть от изнеможения.

Доктор всё хохотал и, указывая на дьякона, кричал:

— Хочешь, сей человек тебе духовные ботинки сделает?

Женщина взглянула, лениво приподняла брови, а дьякон гордо сказал:

— Могу и ботинки!

— Ха-ха-ха! — раскатывался доктор, — вот-так одиссеи в русском отечестве приключаются! Помнишь, ты как-то говорила, что уж никто тебе такие полусапожки не сделает, как шил сапожник Коловоротов, когда ты была девочкой?

— Ну?

— Вот! Вот... он сам перед тобой!

Женщина взглянула, удивилась, а потом вдруг оживилась и обрадовалась.

— В самом деле?

— Могу! — хвалился дьякон, — я всё могу! Всё сделаю. Полусапожки желаете? Полусапожки смастерю, всему свету на удивленье! Венские туфли? Парижский шик? Всё могу... с канифолью! Только пусть Валерьян Павлыч к моей дьяконице съездит!

Женщина просительно взглянула на доктора.

— Дружок...

— Поеду, — хохотал доктор, — разумеется поеду! Непременно! Завтра же явлюсь! После приема тотчас отправлюсь... ха-ха-ха!

И доктор продолжал хохотать. А дьякон достал круглые очки, оседлал ими нос, вынул из кармана пук бумаги и, с чинно-деловитым видом указав женщине на стул, опустился на колени.

— Позвольте мерочку снять!

...Вернувшись домой, батюшка с дьяконом узнали очень важную для них новость: умер Масленников. Дьякон тотчас принялся за работу, и всю ночь шил сапоги, а утром, перед похоронами, настоял, чтобы их надели на покойника. Родные было противились, но дьякон строго сказал:

— Мне их смерть заказала... а ей Господь повелел.

И Масленникова, в новых сапогах, заказанных смертью, хоронили очень торжественно, как покойника знатного и богатого. Торжество было в деревне небывалое: дьякон смастерил даже что-то вроде траурной колесницы, на которой и везли колыхающийся черный гроб, сначала к церкви, а потом на кладбище... был заказан и сорокоуст, как мечтал когда-то дьякон.

Между тем доктор приехал в тот же день: осмотрел, выслушал, выстукал и увез дьяконицу с собой.

Она вернулась через два месяца, по первопутку, и еще опиралась на костыли, но уже смотрела, по выражению дьякона, огурчиком. По сему случаю дьякон устроил великий пир: созвал соседей, пригласил батюшку с матушкой, а на пиру даже выпил от радости церковного вина, и расхвастался.

— Старуха, а старуха! Вот видишь... я и смерть перехитрил!

Дьяконица взглянула на дьякона.

— Во всем свете, — сказала она растроганно и тихо, — нет умнее моего дьякона...

Дьякон смотрел гордо.



КАПИТАН КУК

I

Хмурые сумерки заглянули в окна.

О. Илья зажег лампу, поставил ее на стол у кровати и вновь улегся с книгой в руках. — «Вождь упсароков, — читал он, — Храброе Сердце, осторожно прополз по траве с томагауком в руках до опушки леса. Бесшумно раздвинул он ветви кустарника и стал внимательно осматривать местность. Перед ним в бесконечную даль расстилалась зеленая равнина, над которой ярко сияло весеннее солнце юга».

О. Илья опустил книгу.

— Солнце юга! — мечтательно шептал он, наблюдая, как за окном сгущаются ненастные сумерки. В его воображении вставали залитые светом равнины, те безграничные, дикие Пампасы, где всегда бродила его одинокая душа. Ему грезилось, что он мчится по степям на диком мустанге, полный свободы и силы.

Страшный кашель прервал его мечтания, и он затрясся всем худым, тщедушным телом своим. Сквозь кашель ему казалось, что в кухне кто-то разговаривает.

В кухне попадья пахтала масло, кухарка Марья, с толстыми губами и рябым лицом, возилась с корчагами, а у порога стоял низкорослый казак, робкий, с пугливыми, подозрительно бегающими глазами.

— Матушка, — просил он, — доложь!

Попадья сердито вскинула черными, хмурыми бровями.

— Сказала же я тебе, Еремеев, что батюшка нездоров, — произнесла она сухим тоном, — по пустякам нечего и беспокоить его.

Еремеев помолчал.

— До зарезу дошло! — почти вскрикнул он: — хоть на большую дорогу ступай!

Как бы вдохновясь своим горестным словом, он выступил из тени порога на сумеречный свет окна и заговорил горячо, торопливо, отчаянно:

— Матушка! Родная! Поверь Господу Богу! В доме хлеба крошки нету. Жена хворает... Матушка! Выручи! Девочка-то хворая.. в кори лежит.

Попадья спокойно продолжала пахтать масло.

— Про старый-то долг забыл, Яким Василич? — сказала она.

— Родная, Бо-га молю...

— Бог, мотри-ка, за нас долгов не платит.

— Уплачу! Заработаю! Хлеб молотить или сено возить по осени... только кликни!

— Слышали мы эти сладкие речи! — бесстрастным тоном говорила попадья: — по весне лед возить понадобилось, кого дома не было?

— Родная! На базар ведь я уезжал в Крашениновку. Разве прятался!

Наступило молчание.

В окно смотрело угрюмое ненастье. Дождь ручьями тек по грязным стеклам.

— Матушка! — заговорил казак.

Попадья продолжала свою работу.

— Выручи... родная! — с отчаянием в голосе молил казак.

— Пристал! — рассердилась попадья, бросив мешалку; — как тебе не стыдно! Не крезы мы. Свой сын в духовном училище учится! Все к попу да к попу, — пользуетесь его добротой... дурацкой! А приди к вам поп за нуждой, — дома вас нету!

— От нас-то ведь ты не была обижена, матушка.

— Всех вас на одну веревку связать.

Она опять взялась за мешалку.

Дождь, казалось, усиливался. Монотонно-тоскливо

барабанил он в стекла. Слышалось, как скрипела запоздалая телега, шлепала по грязи лошадь и кто-то ругался. Марья встала босыми ногами на припечек и вскричала:

— Матушка! Взошло тесто-то... так и выпирает!

Попадья занялась тестом.

— Матушка! — просительно говорил казак, — что же мне делать-то? На большую дорогу теперь идти? Больше просить не у кого, всю крепость* обегал! Выручи! Христа-ради прошу!

— Вот ты Христа-ради просишь! — сказала попадья, — а подай тебе краюху хлеба, ты носом фыркнешь!

— Чего же мне с краюхой-то делать!

— То-то! Все вы так-то! Христа-ради просишь, так хлеба отрежу. А в долг... к другим ступай!

Еремеев больше не вынес.

— Прощенья просим! — сказал он и вышел за дверь. Но затворяя дверь, не выдержал: гнев вырвался у него горьким словом, которое услыхала попадья.

— Длинногривые!

Выйдя на улицу, Еремеев с силой захлопнул калитку. Как у затравленного волка, в груди его, под серым чапаном и грязной рубахой, загорелось чувство, до сих пор неиспытанное, чувство протеста, страстного, гневного, отчаянного. Этот протест выразился в граде самых циничных ругательств, которые Еремеев шептал со страстной ненавистью с побелевшими губами, в то время как, полный злобы, взгляд его блуждал с предмета на предмет, пробегал по серому небу, по грязной улице, по черным хатам.

— Хоть бы чорту душу продать! — прошептал он.

Он медленно шел к своей раскрытой хате, не разбирая дороги, и представлял, как мечется в кори Анютка, и с каким лицом встретит его жена. Вдруг он ре-

* Так казаки называют прилинейные поселки.

шительно повернул назад и прошел в глухой переулок за поповским домом. Он не сознавал еще ясно, куда идет, но шел не размышляя, не колеблясь, как будто повинуясь вдруг восставшему в душе представлению, услужливо подсказанному памятью и безраздельно овладевшему мозгом. Никто не попадался ему навстречу. Тьма густою пеленой одевала землю. Он осторожно скользил вдоль плетней, инстинктивно стараясь не сделать шума. Дождь то переставал, то вновь принимался идти с удвоенной силой. Еремеев дошел до конца околицы. Перед ним расстилалось поле, покрытое мраком и объятое мертвящей тишиной. На секунду он приостановился, обернулся к поселку, на минуту как будто задумался, но вдруг в новом приступе отчаяния почти закричал:

— Проклятые! Прокляты будьте отныне и до века! Затравили меня!

Он быстро и решительно зашагал в сторону от поселка в ночную, ненастную мглу.

Тем временем, едва Еремеев вышел из кухни поповского дома, дверь из зальцы приотворилась, и оттуда выглянул о. Илья.

— Кто тут? — спросил он, осматривая кухню.

— Все свои, — сказала попадья.

— Мне показалось, был кто-то!

Он вышел в кухню, мягко ступая ногами, обутыми в валенки, и заложив свои худые руки в карманы подрясника.

— Я ведь явственно слышал голос! — говорил он, меланхолически смотря за окно.

— Показалось! — проронила попадья.

— То-то...

Он постоял, задумчиво прислушиваясь к шуму дождя, и опять спросил:

— Может, был кто, а?

— Господи... говорю же нет! — нетерпеливо про-

изнесла попадья: — померещилось тебе. Марью спроси, коли мне не веришь!

— Марья!

— Никовошеньки-никого!

О. Илья взялся рукою за впалую грудь и раза два коротко кашлянул.

— То-то! — сказал он.

Он ушел в зальцу и несколько раз прошелся бесшумно по беленьким половичкам колеблющейся походкой.

В окна вползали густые сумерки.

— Не верится мне, — размышлял о. Илья. — Слышал я голос, не мерещилось же мне! Господи... и зачем они всегда врут!

Он присел было на диванчик, но тотчас же опять встал.

— Ведь я же явственно слышал голос! Не приходил ли кто хлеба в долг просить? Нужда-то большая. А они... Это так и будет! Чего им жалко какую-нибудь пудовку? С них же берется. Слава Богу, хлеба целый амбар.

Улыбаясь меланхолически, он закашлялся.

Потом подошел к окну, раздвинул кисейные занавески и внимательно посмотрел на улицу, на площадь, не идет ли кто от его ворот. Стемнело, но можно было еще рассмотреть, как тучи несутся вверху, подгоняемые ветром. Нигде не было видно живой души. Только церковь высилась среди площади темным силуэтом, вся мокрая от ненастья. О. Илья задумался, глядя в окно и прислушиваясь к шуму дождя. Всем существом своим ощущал он заброшенность. Какие-то яркие картины вставали в душе его, полные красок, полные звуков; охватывал вновь тот мираж иной жизни, которая всегда жила в глубине души его, в тайниках, никому недоступных. Солнце юга, блестящее, яркое, леса, перепутанные лианами, в которых таятся змея и гиена, бесконечные равнины со стадами бизонов, пасущихся на ди-

ком приволье, и палатки охотников, вольных исследователей неизвестных стран, с кострами, с ружейными залпами... Всё это сплеталось в фантастически-причудливую фантасмагорию, сплеталось, расплеталось в душе его. А в окно смотрела на него тоска одиночества, с грязной площади, с темной улицы, опускалась хмарой с хмурых туч, шептала ему какие-то сказки-были, трепетала в занавесках окон и скреблась вместе с мышью в углу его комнаты.

Со вздохом оторвавшись от окна, он колеблющеюся походкой вышел в кухню.

— Катенька! Право, кто-то был у нас! — сказал он; — зачем ты скрываешь? Как это неприятно!

— Неприятно, так и сиди в кабинете, обоймись с своими книгами дурацкими! — рассердилась попадья.

— Что же ты сердишься?

— Скажите пожалуйста! Заботишься, заботишься о нем, а вместо благодарности: неприятно! Другая бы попадья давно сбежала от такой жизни. Я только, грешная, терплю!

Он хотел что-то сказать, но махнул рукою и ушел в кабинет. Здесь он опять лег поближе к лампе, взял книгу и стал читать. «Вдали, на краю равнины, — читал он, — Храброе Сердце увидел белеющие палатки. Тогда снова, припав к земле, он, как змея, бесшумно пополз по высоким травам к лагерю».

За окном шумело ненастье. Дерево шуршало по окну оголенными ветвями.

Где-то сверчок запел. Мышь заскребла.

II

Утро встало над землей еще ненастнее вечера.

Низко ползли хмурые облака, клубились, разрывались, соединяясь в мрачно-серые тучи, из которых мутной пеленой оседал мелкий дождь, похожий на изморозь. Избушки поселка были черны, грязны, несчастны.

Все краски природы слиняли, потускнели, стерлись. Тоска тусклым оком смотрела с грязно-серого неба, выглядывала из-за каждого покривившегося плетня, заползала в комнаты через запотелые окна, как убийца, бесшумно нападала на людей и душила их.

Едва о. Илья сел за утренний чай, как к нему явилась скучающая публика. Сначала пришел Антон Антоныч, фельдшер, — красноротый, приземистый человек. Он был мрачен, как ненастное утро.

— Голова болит! — сказал он, потирая лоб и как будто вопросительно посматривая на батюшку.

— Мы ее русским средством полечим! — улыбнулся о. Илья, доставая из шкапа графин. — Катя, принеси-ка закусочки... Надо фельдшера полечить, захвораем — и он нас... того...

— На тот свет вылечит? — подшутила попадья, откладывая шитье и направляясь в кухню за закуской.

Фельдшер слегка расцвел.

— Всемирное средство! — сказал он, кивнув на графин и засмеявшись хриплым смехом, — пословица говорится: кто водочку не любит, тот Богу враг.

Он закачался на стуле от приятного смеха, щурясь на графин, как кот на масло.

Едва появился графин, пришел и дьякон. Говорили, что у дьякона особое чутье развилось от долгой практики... вроде шестого чувства: он водку издали чуял. Дьякон был маленький, с глазами навыкате и совершенно лысый: когда-то жена захотела сделать его кудрявым и помазала пьяному голову чудодейственной мазью. Все волосы вылезли.

— Могу вместити? — сказал дьякон, поздоровавшись и подходя к графину.

Выпил, сел к столу, погладил лысину, крякнул и вытаращил глаза: это была его всегдашняя привычка.

Тем временем фельдшер совсем расцвел.

— Да... вот, — заговорил он оживленно, поддевая на вилку кусок селедки и отправляя его в рот, — мы вчера

с писарем-то, с Капитоном-то Ивановичем, здо-о-рово заложили! Капитон-то Иванович выпить не дура-ак!.. О-го-го!.. Четверть поставь, кончит!.. Ну, и пошел же он на четвереньках домой. Смотрю в окно ему вслед... что, думаю, такое... теленок — не теленок... А это он... на четвереньках... да головой-то всё в грязь норовит...

Фельдшер опять заколыхался на стуле от смеха при воспоминании о Капитоне Ивановиче.

— У меня со вчерашнего в голове тоже стукатень идет! — сказал дьякон, выразительно крякнув: — треск! Словно там крышу ломают... или из пушек палят!.. Мне уж дьяконица на нее утром четыре ведра воды вылила... не берет! О. Илья... могу вместити?

Фельдшер поспешил последовать примеру дьякона, после чего совершенно загорелся пламенем.

— А у нас новость, батюшка, — сказал он, — Капитон-то Иваныч хотел сегодня ко мне прийти, — да некогда, — суд! Вора поймали. На алебастровой горе инструменты украл.

— Чей такой? — спросил о. Илья.

— Еремеев.

Попадья удивленно подняла голову, и краска залила слегка лицо ее. Но она сейчас же спокойно принялась за шитье.

— От них только и станется, — заметила она своим сухим тоном; — как же его поймали?

— Тут целая история! — засмеялся фельдшер. — Еремеев ночью на алебастровую гору пробрался, спустился в шахту, да инструменты и свистнул. На ту пору Кузьма Помазок с Балабановым вздумали на ночную работу идти. Пришли, хватились инструментов, — нет! А Помазок-то парень вострый, в степи, в походах бывал. «Я, — говорит, — на Аму-Дарье тигров выслеживал, а этому вору меня не провести!..». Прибежал домой, лошадь оседлал, да в город, — прямо к сестре, да у сестры и нарядился бабой... Нарядился это он бабой и пошел, вышагивает по базару. Там ему кри-

чат: «тетенька, что покупаешь?..» Он и глазом не моргнет. Хвать, а Еремеев-то вот! Уж инструменты продал и деньги получает... Помазок-то сейчас платок долой, платье снял, да и кричит: «стой!.. Узнаешь меня? Да за шиворот... Привез он его в поселок еще рано поутру, часа два тому назад; теперь сход скликают: судить будут... Хе-хе-хе!.. Нет, как это он ловко... Цап-царап. Башка этот Помазок!

— Вышибало номер первый! — сказал дьякон.

— Нужда! — заметил о. Илья с оттенком грусти.

— Нужда! — презрительно передразнила попадья, — у тебя всё нужда. Народ избаловался, вот что! По-моему, мало их... порют-то!

— Какие ты всегда глупости говоришь, Катя! — рассердился о. Илья. — Вот богатые мужики не идут воровать. Отчего же всё бедные воруют?

— А вчера Капитон-то Иваныч еще новость мне сказывал, батюшка, — заговорил фельдшер, нетвердо выговаривая слова: — Андрэ нашелся!

— Что вы! — оживился о. Илья, даже привстав с дивана. — Не может быть! Откуда он вычитал?

— Говорит, нашелся. В леднике, будто бы, сидел, а летом, как растаяло, вышел.

— Духовный, что ли? — спросил дьякон.

— Воздухоплаватель.

— Во-он!.. Как он в погреб-то попал?

— Боже мой! Боже мой! — волновался о. Илья, — удивили вы меня. И даже обрадовали, признаться... Нашелся! Дай-то Бог, чтобы это правда была, а не выдумка... Ведь вы поймите, Антон Антоныч, как он науку обогатит! Ведь там, за вечными ледяными горами, быть может, новые страны, новые люди; совершенно неизвесные еще науке — растения и животные... Волшебный мир!

— Могу вместити? пробасил дьякон, торопясь поправить голову; — стомаха ради телесного.

— Пейте, не спрашивайте! — отмахнулся о. Илья

и продолжал, обращаясь к фельдшеру: — да, Антон Антоныч! Человек всю землю обошел, в пустыни проник, в леса первобытные... на дно морское спускался... всю природу исследовал... Каждая пташка там, травка, букашка в книгах зарегистрирована... А вот — полюс! Таинственный мир, неисследованный мир... Запрет на него для человека положен... Погодите-ка, я карту принесу.

О. Илья быстро прошел в кабинет.

— Вместим? — оживился дьякон, мигнув фельдшеру на графин, и обратился к попадье: — Матушка! Разреши. Мать попадья! При-ложимся к насто-ечке, пото-м и к огурцу!

Дьякон запел:

Век на-ш не дол-га-й...
Вы-пьем по пол-на-й...

Вслед за тем у дьякона совершенно взмокла лысина, а фельдшер стал походить на повешенного, которого только что сняли с петли.

— Вот! — говорил возбужденно о. Илья, разложив атлас на столе и водя пальцем по карте. — Смотрите... вот... Земля Франца-Иосифа... вот, видите, как тут земля обрывается... Дальше ничего не известно... ничего! А ведь там самые чудеса должны быть. Говорят, там за ледяными горами — теплое море!

Фельдшер смотрел на карту совершенно посоловевшими глазами и покачивался на стуле, как будто от удивления, а дьякон сказал:

— Не из водки море-то, о. Илья? Вот бы где приходец поддеть... Говорят, есть такие места, где из водки реки текут. Рай!

— Читали вы Нансена? — обратился о. Илья к фельдшеру, садясь на диван: — «Среди полярной ночи»?

Фельдшер хотел сказать «нет», но у него не вышло.

— Нравится мне он! Как увлекательно, ярко ри-

сует он чудеса полярного мира! Вы только представьте себе эту бесконечную, морозную, темную, торжественную... безмолвную ночь! Часы бегут... бегут сутки... бегут недели... А всё не светает... всё тихо, всё темно! Только ледяные горы, белея, плывут да сталкиваются с треском, да рассыпаются, разлетаясь в куски... и море бурлит под ними, мрачное, черное, как чернила! Белые медведи ревут на льдинах. А вверху звезды горят... большие... яркие! И вдруг по небу взметнется северное сияние... иглами... столбами... переливами... молчаливо... холодно... таинственно!

— Ах! — вздохнул он, откидываясь на диван, — всюду побывать бы, всё бы увидеть... всё бы изведать! Как меня влекло когда-то... Влекло — манило... А судьба-то вот... Я сына непременно в университет направлю!

— Хо-оро-шие страны! — покачнулся фельдшер на стуле, — оттуда к нам исландский мох идет. Хо-ро-ошее средст-во!

— Водку можно настаивать? — спросил дьякон.

— Нет! — мотнул фельдшер головой так, как-будто он хотел покатить ее по полу вместо шара.

— Значит, дрянь! А ты хвалишь! Вот анис — чудесная штука! Такая из аниса настойка выходит, что я, брат, какой питок, — и то рот разеваю... Яко рыба!

Тут дьякон вытаращил глаза.

— Могу вместити?

— Кушайте, о. дьякон, — говорил о. Илья, мечтательно смотря куда-то за окно горящим взором. — Антон Антоныч... Поправляйтесь!

— Уж-ж я... поп-рра... — бормотал фельдшер.

— Антоха! — взывал к фельдшеру дьякон: царапнем! За Андрея... чтобы в погреб не попадал!

— Цар-ра-а... — бормотал фельдшер; — толь-ко у меня... гол-лова... чего-то...

— Пустяк! От водки всякая голова проходит! Глотни из теплого моря, всё пройдет!

Выпив рюмку, дьякон сказал:

— О. Илья...

Он слегка наклонил голову и замотал ею.

— Не нажить тебе с Куком добра!

— С каким Куком, о. дьякон?

— Известно, с каким. С капитаном Куком! Который по водам плавал... Тебе-е на во-да-а-х!.. По нашей духовной части другая прокламация полагается... Пятак — рядовой, гривенник — фельдфебель... Двугривенный — маиор, полтинник — ротный... Рупь — капитан... А мы — генералы!.. Стройсь, равняйсь, руки по швам, полезай в карман! Тут оно и забренчит в кармане-то, как у царя Соломона! А с Куком — пропадешь, потому он, Кук-то, по морской части, а мы по духовной.

Дьякон хитро сощурил на о. Илью глаза. Потом, забывши, что сейчас только выпил, опять принялся ловить графин, говоря:

— Могу вместити? О. Илья! Во здравие души и тела. У меня всё еще треск!

Он пролил рюмку и стал наливать другую, бормоча:

— Фельдшер! Антоха!.. Др-ру-г... Вместим... За Андрея... за Кука... за теплые моря... в сорок градусов.

Он выпил рюмку и закончил:

— И за всех ар...хиереев!!

Поставив рюмку на стол так, что она упала на бок, он, не заметив этого, стал смотреть в пространство. Фельдшер, ловя селедку, попадал вилкой в варенье и бормотал:

— Ку-у-к... Сила не в Ку...ке... Тут... наука, бра-т!

В это время приотворилась дверь из кухни, и кто-то позвал о. Илью. Едва о. Илья вышел, как в ноги ему упала бедно одетая женщина, заплаканная до опухоли лица.

— Батюшка! Родной! — залепетала она, стараясь поймать его руку, и, несмотря на протесты о. Ильи, почти обнимала ему ноги в смертельном волнении. —

Батюшка! Защити! Заступись. Не к кому, кроме тебя, кинуться... Защити сирот!

— Что случилось? — взволновался о. Илья.

— Схватили... Судить хотят хозяина-то моего! Дети-то маленькие останутся. Девочка-то в кори лежит. В острог посадить хотят... Кормилец мой... Спаси... Защити!!..

— Еремева ты, что-ли?

— Еремева, голубь ты мой сизокрылый...

— Встань-ка ты, расскажи-ка мне, в чем дело — толком.

Баба с трудом поднялась с пола и начала рассказ, прерываемый слезами и возгласами отчаяния.

— Антоха! — тем временем говорил дьякон, стараясь поймать графин, — хочешь самострелу? Матушка-а... благослови... за щеку залить!

— Бла-го-сло-ви... — бормотал фельдшер, стараясь поднять голову со стола.

О. Илья вошел в зальцу, пылая румянцем.

— Дождались! Слава Богу! — заговорил он, обращаясь к попадье, нервно потирая руки. Он гневно обдавал ее лихорадочно-болезненным взглядом.

— Что такое? — сухо спросила попадья, подняв голову и нахмурив брови.

— Прекрасно! Превосходно! — нервно шагал о. Илья по комнате, — вели-колепно!!..

— Да в чем дело? Говори толком! — почти крикнула попадья, отложив работу.

— Скажите вы мне, пожалуйста! — остановился перед ней о. Илья, трепеща от гнева, — разъясните мне, сделайте милость, на каком основании вы не допускаете ко мне прихожан? Что вы за такую новую манеру взяли, а? Ведь это... это отвратительно!! У меня слов нет! Это... это... чорт знает, что такое!

Попадья откинула шитье и пошла из комнаты.

— Хоть бы людей-то постыдился, скандальник!.. — проронила она на пороге.

— Чтоб у ме-ня в другой раз этого не было!! — почти детским голосом закричал о. Илья. — Чтобы никогда этого не было! Вы только представьте себе... представьте! — обернулся он к фельдшеру, который, наконец, поднял голову и смотрел на дьякона, думая, что это говорит он. — Еремеев, оказывается, приходил вчера ко мне, а его не допустили... Понимаете? Тут нужда такая, что на воровство человек пошел! А она... вот эта самая моя жена, что там, в соседней комнате злится, она его выпроводила и мне ничего не сказала... А!.. Понимаете?.. Ведь они убивают меня!

Фельдшер опять успокоился. Дьякон ловил графин.

— Убивают, так вот ухожу я от тебя! — выставила попадья из двери злое лицо, — надоел ты мне со своими проповедями...

— Уходи! Уходи! Рад буду!! — кричал о. Илья, — капиталы хочешь нажить на случай моей смерти! На мужицких хлебах раздобреть!! Не буду я больше и хлеб собирать... чорт с вами!

— Не собирай! Раздай последний! — не унималась попадья за дверью, — подохнешь, хоронить не на что будет. И то на ладан дышишь...

У него лицо исказилось болезненной судорогой.

— И разда-м! Раздам! Нарочно раздам! Кому какое дело! Чтобы тебе только не доставалось, сатане!

Он хрустнул пальцами.

— Ах... убежа-л бы я от вас!

— Мчись! — не унималась попадья, — никто жалеть не будет.

— Ересь! — буркнул вдруг дьякон, поймавший, наконец, графин, — арианство!

Он стал наливать мимо рюмки.

— Хоть бы вы-то помолчали, о. дьякон! — раздраженно закричал о. Илья; — не вам священника учить, как поступать надо... Заслужите священника, тогда живите, как знаете!

Фельдшер стал прихрапывать.

Дьякон выпил рюмку, встал и уставил на о. Илью глаза.

— Так-к ты... во-о-т как... о. Илья! Так ты меня... как почитаешь... Так ты во-о-о...

— Отстаньте вы от меня!.. — кричал о. Илья, бегая по комнате в приступе болезненного гнева. — Все вы тут заодно... шайка!

— Так ты во-о-о...

Дьякон уронил рюмку на пол и стал нащупывать косяки, чтобы выйти в дверь.

— Суди-ться буду!!! — кричал он из кухни, что-то там роняя.

О. Илья пробежался еще раза два по комнате, потом прошел в темную прихожую и стал там одеваться. Выйдя через парадное крылечко на улицу, он направился через площадь к правлению.

III

Шел дождь.

Тучи неслись вверху, принимая фантастические формы чудовищ. Полдень напоминал вечер, так было темно, уныло, сыро. Внутри правления было еще темней. Свет лампы сквозь стекло, загаженное мухами, не разгонял мрака по углам и отбрасывал черные, гигантские силуэты людей на прокоптелые стены. Ожесточенное галденье наполняло комнату. Более всех кричал маленький, черненький казаченок, со злыми, как у ворона, глазами. Он злобно суетился перед столом, заваленным бумагами, за которым сидел писарь, нагнувшийся над листом бумаги.

— Пиши! — отчаянно кричал он, — пиши, Капитон Иваныч, бумагу атаману отдела, что общество желает казака Еремеева во второй отдел выслать.

— Погоди-ка ты, егоза! — говорил высокий, худой казак, с окладистой рыжей бородой и подслепо-

ватыми глазами: — не егози зря-то! Ведь с нужды человек....

Казаченок так и метнулся:

— Ты-то помолчи! — заорал он: — ты хоть и церковный староста, а в этом деле твоего голосу нет, потому Еремеев тебе сродни приходится. Инструменты-то, чать, мои! По настоящему-то закону Еремеева надо в острог отправить, чтобы не баловался! Много их, охочих до чужого добра, найдется...

— Чудак! Нужда-то не тетка! — не унимался староста: — ведь человек первый раз замечен.

— А намеднись лошадей у общества угнали двадцать голов! — кричал казаченок, вертясь, словно волчок, по гнилому полу правления; — это тоже с нужды? Тоже простить надо?

— Правильно! Правильно! — загудела вся толпа, при напоминании о лошадях; — как можно ворам потачку давать! Ты, Иван Гаврилыч, не вступайся; тут дело общественное. Пиши, Капитон Иваныч, бумагу. Во второй отдел!

Ере́меев, сидевший всё время на лавке, опустивши голову, вскочил с нее и встал перед обществом.

— Ана-фе-мы! — заорал он диким голосом; — прокляты будьте отныне и до века! Волки вы ненасытные! Утробы обжорливые!

— Мол-чать! — грозно закричал на него атаман, красивый урядник с медалями на груди.

— Погожу! Сначала скажу вам всю правду, чтобы глаза ваши бесстыжие хоть раз в жизни стыдом заложило. А потом... хоть в Сибирь гоните! Везде люди живут. Кто меня нищим сделал? По чьей милости я в обществе последний человек стал?! Кто виноват... А?!

— Осатанел он, братцы! Атаман... Константин Митрич... Посади его в холодную... Заткни глотку!

— Дневальные! — крикнул атаман

Но Еремеев вдруг отскочил за стол и бешено засверкал глазами.

— Не подходи!! — почти зарычал он: — остервенился я! Дай мне злобу мою высказать! Не дамся, пока всего не скажу! Скажи-ка ты мне, Константин Митрыч: кто у меня лошадь со двора свел за долги? С той поры и разоренье мое пошло... Обнищал я! Кто у меня пшеницу последнюю выгреб по осени в депозит? Отличиться перед начальством захотел... не даром тебе медаль-то повесили! Живо-ре-з!

— Как ты смеешь оскорблять меня? — вспыхнул атаман: — я при должности состою! Капитон Иваныч, запиши его речи.

— Живо-ре-з! — орал Еремеев не своим голосом; — пиши, бесстыжие твои глаза, записывай! Запиши и то, как ты штрафами меня давил! Себе ты дрова рубил в заповедном лесу, — тебе можно! Сватьям твоим — можно! Кумовьям твоим можно! Богатеям, с которыми ты водку жрешь, — тоже можно. А бедный человек дровнишки валежнику насбирал — штраф... Пес ты, а не атаман!

— Дневальные!

— Не подхо-ди-и! Лиходеи вы все! Вы меня до покражи довели! Не я виноват, — вы, анафемы!

— Что же это такое! До каких пор слушать! — загалдела вся толпа в один голос; — ему, злодею, острогу мало! Видишь, он... сатана какой! Выслать, выслать его! Пиши...

Застонало всё правление от шума: все кричали, не слушая один другого, махали руками, переругивались. Черненький казаченок всё вертелся кубарем перед толпой, подлетая то к одному, то к другому. Один церковный староста грустно стоял в стороне, не принимая участия в споре.

Вдруг толпа расступилась и смолкла.

Среди нее стоял о. Илья.

Никто не заметил, как он вошел и стал позади толпы, прислушиваясь к словам Еремеева. Теперь он

выступил почти на середину, бледный, с горящими глазами.

— Старики! — сказал он, — отпустите Еремеева... Я за него прошу!

Все молчали, в недоумении от такой просьбы. Нашелся только писарь. Посмеиваясь гаденькой улыбочкой из-под усов, на которых никогда не просыхала водка, он сказал слащавым голосом, с почтительностью, плохо скрывавшей ядовитую насмешку:

— Батюшка! Вам, может быть, неизвестно, что Еремеев кражу совершил?

— Потому и прошу! — сказал о. Илья.

Писарь склонил голову на бок, почти положил ее на плечо и засмеялся продолжительным смешком, напоминавшим шипенье.

— Как же это вы за вора просите-с? — сказал он, — это даже совсем невероятно-с!

В то же время черненький казаченок закричал, ни к кому собственно не обращаясь:

— Как можно отпустить! Это нельзя... Пусть ответит по закону!

— Я у общества прошу! — нахмурился о. Илья, — не у тебя!

— Да инструменты-то мои ведь! — закричал казаченок; — что же это будет, коли ворам потачку давать! Намеднись коней угнали, теперь...

Тут мало-по-малу поднялся общий сдержанный говор.

— О чем ты, батюшка, просишь! — говорили в толпе: — можно ли вора отпустить!

— Можно! — горячо вскричал о. Илья; — вы разве забыли, как Христос блудницу отпустил, которую побить камнями хотели! Старики! Я вас прошу! Сделайте мне уважение! Я, как священник, прошу! Я ручаюсь вам, я знаю, что Еремеев действительно от великой нужды на такой поступок решился. Нужда, старики!

— Все мы, батюшка, в нужде живем! — раздались голоса: — не идем же воровать!

— Не в такой! — почти крикнул о. Илья; — не испытали еще вы такой нужды, должно быть, когда жена и ребятишки пухнут с голоду, когда человек мечется целыми годами, что б хоть черствую корку хлеба раздобыть, когда весь свет отвернулся от него и ничего ему не остается делать, как идти на большую дорогу. Старики! Загляните в свою совесть... Подумайте! Не губите человека навсегда, не озлобляйте его окончательно, не травите его, как волка, простите, как Христос прощал! Еремеев, сколько тебе лет?

— Сорок, люди говорят, — угрюмо отвечал Еремеев, прислушивавшийся к словам священника.

— Вот видите, видите! — говорил о. Илья, — до сорока лет человек без зазору прожил, честным членом общества вашего был. Стало быть, велика та нужда была, которая довела его до отчаянного поступка! Пожалейте человека, старики... Простите!

— Надо ихнего брата жалеть, разбойников! — не утерпел казаченок.

— Погоди-ка ты, помолчи! — вскричал о. Илья, пылая румянцем, — не наказывать Еремеева, не разорять ссылкою во второй отдел, а помочь ему надо! У него жена больная, ребенок в кори лежит, в доме хлеба ни куска, избы истопить нечем! Взять ему негде, заработать негде! Никто не верит ему! Вчера он полдеревни обежал, чтоб хоть кто-нибудь в долг хлеба поверил. Быть может, у многих из вас был. Ведь зазрит же вас совесть! Ведь правда? Правда?

— Я вчера, батюшка, у тебя был! — угрюмо сказал Еремеев.

— Да, да! — весь вспыхнул и затрепетал о. Илья, — он и у меня был... у последнего, понимаете? А я не знал... и я так же виноват, как и вы, перед ним! Ему некуда было больше деваться, некуда обратиться, весь свет отвернулся от него. Мы все виноваты, старики, в

его вине! Я прошу вас за него, отпустите его. Я покаяние на него наложу... Епитимию. Я на поруки его прошу! На него затмение находило, мрак... отчаяние! Он честным был человеком, пусть честным и останется. Простите его!

— Батюшка, — сказал писарь, слащаво улыбаясь, — мы этого дела скрыть не можем: должны по начальству представить. Тут воли общественной нет!

— С нас начальство требует! — сказал атаман.

— Как можно отпустить! — кричал черненький казаченок, злобно хорохорясь и ершась, — вору потачку дай, последнюю рубашку снимет! Я к атаману отдела сам поеду!

— Батюшка! Отец! — говорили в толпе, — проси о чем хочешь другом — уважим! А это дело такое... сурьезное.

— Уголовное! — вставил писарь.

— Я вас прошу, старики!

— Не можем, батюшка! — говорили передние. — Вор! Как ему потачку дать?

А позади уж кричали:

— Нельзя этого, старики! Как это можно, такое дело пускать. Намеднись коней украли, теперь... Невозможно! Нельзя!!

— Так не уважите моей просьбы? — сказал о. Илья.

Голос его звенел.

— Батюшка! Отец! Нельзя. Не дадим повадки... Как можно! Куры засмеют!

— Ваше благословение, — говорил атаман почтительно, — у нас по уставу положено всякую мелочь по начальству доносить. Мы не можем!

— Нет, можете, если захотите! — возвысил голос о. Илья, горя румянцем; — вы только священнику уважить не хотите в его справедливейшей просьбе. Так послушайте... послушайте, что я вам скажу!

Он волновался всё более.

— Вы суд неправый творите, суд пристрастный... безжалостный!! Вы не хотите чужой нужды понять, чужой беды покрыть!! Вам ближний, как волк, которого вы поймали в овчарне! С дубинами, с дрекольями идете на него. Забываете вы, что у каждого из вас на душе есть тысячи грехов, тайных, никому, кроме Бога, невидимых... грехов, которые нуждаются в прощении, в оправдании! Каждому из вас совесть подскажет проступки, в тысячу раз худшие, чем воровство из-за нужды, когда нужда человека за горло взяла, душит день и ночь, когда ему жрать нечего, когда на глазах его сохнет жена от голода... кричат дети! Нет... у каждого из вас есть на совести прелюбодеяние, тайное воровство, бесчестный обман словом и делом... мысли беззаконные! Вы убивали человека словом, не помогали беднякам, душили их кулацкими процентами. Вы не чувствовали жалости! Вы звери, звери, а не люди! Помните, для всех вас будет суд! Так же смерть вас застанет внезапно среди грехов ваших, как вы захватили Еремеева, так же Бог будет судить вас, как вы судите его! То будет суд — не ваш, не вашего начальства! То будет стра-шный суд!!

Голос его звенел, глаза блестели.

Он задыхался.

— Страшный... стра-шный суд!! — говорил он, подымая руки, как будто грозя примолкшему сходу. — Грозные ангелы тьмами тем будут окружать лучезарный Престол и перечислять вам все грехи ваши, один за другим... самые тайные, сокровенные! И не найдете вы слов, чтобы оправдаться! Вы будете искать по сторонам испуганным взором, чтобы хоть кто-нибудь замолвил за вас слово. Клянусь вам, что я и тогда выступлю против вас и обличу вас за Еремеева! Если душа его погибнет от вашей несправедливости, то на вас будет ее погибель!

Он почти кричал звенящим голосом:

— Так же скажут вам: нельзя давать потачку

грешникам! В огонь их... в лаву горящую, где скрежет зубовный! Не дадут вам пощады, потому что сказано: суд без милости не сотворившему милости. И будет вам суд... страш-ш...

Что-то мешало ему в горле.

— Страш-ный суд!! — выкрикнул он с усилием.

И замолчал.

Ему стало дурно, голова закружилась, в глазах пошли светлые круги. Он присел на лавку и откашлялся в платок... Кровь!

— Батюшка! Охота тебе с этим народом связываться! — любезно шептал над о. Ильей церковный староста. — Дуботолки они. Расстроил только себя... Право!

Но в толпе уже забродило брошенное о. Ильей горячее слово.

— Старики! — шел говор в толпе, — уважим батюшке. На сам-деле: за кем греха нет? Не людоеды мы. Еремеев ни в чем не был замечен раньше.

— Потачка будет! — шипел писарь, — нельзя старики!

— Не допущу! — кричал и неукротимый черненький казаченок.

Но чей-то грубый голос сказал с оттенком властности:

— Посадить его в холодную дня на три, и больше ничего! Не наказать нельзя, а до начальства доводить не будем. Когда я был атаманом, мы так-то делывали.

— Пускай и будет так! — кричали в толпе. — Капитон Иваныч! Рви бумагу! Всё общество желает. На три дня в холодную, и никаких. Батюшка... Уважим твою просьбу!

О. Илья не слыхал.

Ему было дурно.

Опустившись и осунувшись, шел он через площадь к дому, поддерживаемый под руку старостой. Только на миг остановился он, когда солнце прорвалось вдруг

сквозь тучи и осветило даль степей за рекой, — влекущую, манящую даль. Но махнул рукой и пошел дальше.

Через площадь плелся, пошатываясь, дьякон и, завидя о. Илью, стал кричать:

— Капитан Ку-ук! Су-ди-ться буду!

О. Илья кашлял.

Сыро было... дождь шел.



СУДЬБА

Иван Кирилыч согласился, наконец, с матерью, что дальше этого дела откладывать нельзя. Со смерти первой жены мать каждый день заводила с ним разговор о женитьбе.

— Чего ждешь-то? Аль вдовцом вековать хочешь? Чать дети... И без женского глаза в хозяйстве нельзя. Я, сам видишь, не помощница...

Иван Кирилыч угрюмо смотрел, как мать с трудом переступает по комнате больными ногами. Он был мужик крепкий, здоровый, с красивой русой бородой и смелыми, светлыми глазами, первый работник по всей Егорьевке. Умершая жена его отличалась дородностью, здоровым весельем и какой-то неугомонной любовью к труду, — он очень тосковал по ней, и все деревенские невесты перед ней блекли.

— Возьми Дарью, — говорила мать, искоса наблюдая его, — чем не девка?

— Это курносая-то? — хмурился он.

— Что же... не носом ей работать! Ну, вот Климову возьми. Девушка веселая, славная.

— Аграфена, что ли?

— Ну, аль опять не угодила?

— Ежели целоваться с ней... а дай-ка ей грабли в руки, сперва зачешется.

— Машу возьми... соседку.

Он только отмахивался.

— Хороша Маша, поколь не наша.

— На тебя, сын, не угодишь.

Наконец, видя, что в хозяйстве с каждым днем становится всё хуже да хуже, мать заговорила решительно:

— Иван! Успокоишь ты мою старость или нет?

— Да коли ни одна девка не люба? Навек ведь...

— Про князевскую Акулину слыхал? Она семейства хорошего, отец у нее в старостах ходил. И молва про нее идет добре славная. Попытай свою судьбу.

Иван Кирилыч подумал и сказал:

— Ну, что ж... попытать можно.

Зима стояла теплая, но очень снежная: то и дело по степям гуляли мятели. Были святки. Иван Кирилыч запрег в легкие пошевни степенного гнедого мерина, сам облекся в просторный овчинный тулуп, пахучий и теплый, ввалился в пошевни и уже собрался выезжать, как мать сказала:

— А как бы опять мятели не было, Ивашок?

Он посмотрел в небо. Небо было тусклое, серое, тяжелое. Он подумал: «будет метель», но сказал:

— А в другой раз мне ехать не захочется.

Гаркнул, свистнул на мерина и поехал.

Князево лежало от Егорьевки в тридцати верстах. Дорога к нему шла проселком. Не проехал Иван Кирилыч и половины пути, как доселе ясная синеватая даль неожиданно потускнела, будто туманом заволоклась, и в воздухе замелькал снежок, а по степи поползли поземки от набежавшего с севера ветра... Ветер всё крепчал, выл и свистал и крутил в вихревой пляске миллионы снежинок. Снежная буря обняла Ивана Кирилыча со всех сторон светлой, шумящей, крутящейся мглой и быстро засыпала дорогу, пошевни и лошадь сверкающим покровом. Ему казалось, что он едет в серебряных пошевнях на серебряной лошади, в сказочном серебряном царстве. Он понукал лошадь и торопил ее, с тревогой замечая, что гаснет день.

Лошадь стала, дороги не было.

Вокруг шелестящая мгла.

— Вот-так-так... — хмуро сказал Иван Кирилыч, вот так смотрины...

Он взял вправо, влево, но лошадь тонула по коле-

ни в снегу и, тяжело дыша, останавливалась. Он безнадежно осматривался. Ничего кроме тьмы и снежной бури. Тогда он решил довериться лошадиному чутью. Он свободно бросил возжи и стал ласково разговаривать с мерином:

— Ну, что же, милый, а? Неужто без овса спать ляжем? Трогай-ка, брат! Нам хоть бы какую-нибудь деревушку. Тут где-то Зазулино близко. Ну! Трогай, ну!

Мерин поводил ушами и будто вслушивался в хозяйские слова.

Он сделал попытку идти по снегу, увязал, останавливался, опять шел и вдруг побежал какой-то веселой побежкой.

— Нашел! — подумал Иван Кирилыч.

И с облегчением вздохнул, хотя ему и казалось, что едет не в ту сторону. Вдруг где-то поблизости Иван Кирилыч услыхал голоса, шумный говор, крик. Мерин стал, как вкопанный. Где-то под кручей сквозь снежную мглу Иван Кирилыч различил толпу мужиков и сначала не мог понять, что они делают, — мятель мешала. Но когда понял, выскочил из пошевней, кинул возжи, сбросил тулуп и кубарем скатился под кручу. Мужики, все седые и старые, грудой окружили кого-то, подталкивали оглоблями и длинными палками к широкой проруби и кричали:

— Иди! Иди! Ничего! Умела грешить — умей ответ держать...

Крепкая девка, простоволосая, босая, в одной рубашке, только озиралась на всех каким-то волчьим взглядом и молча отпихивалась от оглобель и палок. Она уже была на краю проруби, скользила и взбрасывала руками, чтобы удержаться, но молчала.

— Стой! — крикнул Иван Кирилыч.

Он вломился в толпу мужиков, раскидывая их.

— Что вы делаете? Псы бородатые!

Он крепко схватил девушку за руку и отдернул от проруби.

Кто-то его узнал.

— Да это Иван Кирилыч... егорьевский.

— Безбожники, — вопил Иван Кирилыч, — за что вы ее?!

— Потому... ведьма!

Прямо перед ним стоял высокий старик с трясущейся головой и зло смотрел ему в лицо острыми глазами.

— А ты откачнись, — сказал он, — не твоя забота. У ней и мать была ведьма. Она — неулыба! Вовеки не улыбалась. Намеднись моя сноха пошутила над ней, а она как крикнет: сгореть вам!.. В ту пору ж хата и сгорела!

Он было хотел схватить девушку.

— Пусти. У нас суд над ей.

Но Иван Кирилыч из всех сил хватил его по руке, крикнул: «пущу же я на вас славу, лиходеи, по всей волости», и потащил за собой девушку.

— Беги за мной, живо!

Ему что-то кричали вслед, — ругались ли, оправдывались ли, — но никто не гнался. У санок он накинул на девушку тулуп, толкнул ее в сани, сам бросился рядом и погнал лошадь, отрывисто спрашивая:

— Какая деревня?

— Зозулино.

— Где ехать-то? Я, ведь, не знаю. Сказывай.

Девушка уже с рукавами залезла в теплый тулуп. И, хотя она вся тряслась, почти билась, полузамерзшая, она схватила возжи и круто сказала:

— Дай!

Он немного удивился и уступил.

И тотчас подумал, что и впрямь она ведьма, потому что лошадь пошла так, как никогда не ходила у него: у ней будто появилась крупная рысь, она широко забирала ногами и только снег вылетал из-под копыт. А, между тем, девушка даже не понукала ее, только круто и твердо держала возжи.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Она глухо проговорила:

— Анна.

— Ты чья?

Она как будто усмехнулась где-то там, скрытая в тулупе.

— Своя.

— Родни нешто нет?

— В реке.

— Как так?

— Мать была... да утопилась.

— Отчего?

— От хорошей жисти.

— Где же ты живешь?

— У крестной.

Она помолчала и добавила:

— Не лучше прочих.

Вихрем влетели в деревню.

На всем ходу лошадь стала у избушки в одно окно. Там внутри, их встретила с причитаньями и слезами старая женщина с умильным, но хитрым лицом. — Окаянные, — всё повторяла она, — лиходеи!.. Но Иван Кирилыч каким-то чутьем не верил ее словам. Он послал за водкой, заставил девушку выпить и сам выпил с ней.

— Пей, пей! Отогревайся!

И с интересом наблюдал за ней.

У нее было некрасивое, но суровое и какое-то дикое лицо. Глаза смотрели прямо, не опускаясь, до жути пристально, и были стального отлива. Она, как пришла, забилась в угол, не говорила ни слова и только пристально смотрела ему в лицо. Ни одного слова благодарности она ему не сказала, даже тогда, когда он подошел к ней проститься и неуклюже, чего-то смущаясь, протянул ей руку.

— Прощай... Анна.

Он хотел сказать — Аннушка, но не выговорилось.

Она молча протянула ему руду, всё смотря исподлобья ему в глаза, но даже не пошла проводить.

Мятель перестала, ярко светил месяц.

Иван Кирилыч скакал по серебряным полям чему-то улыбался и посвистывал. А перед глазами у него всё стояло суровое, дикое лицо. — «Неулыба», думал он. И принимался ругать мужиков.

— Черти! Креста на них нет. Взбредет же в голову...

В Князево он приехал в полночь и решил остановиться на постоялом. Чтобы согреться, он заказал чаю и водки, но едва уселся за самовар, как ему показалось, что за окном по лунной улице проскакал верховой. Почти тотчас в комнату вошла Анна. Она была в черных валенках, бараньей шубке, круто подпоясанной, красном платке и сама вся раскраснелась от быстрой езды верхом.

— Я к тебе, — сказала она отрывисто.

Иван Кирилыч от удивленья даже встал из-за стола.

— Ко мне?.. Зачем?

— Буду твоей вечной рабой.

Она сказала это просто, как самую обыкновенную фразу, смотря ему в глаза.

Он смутился и растерянно усмехнулся:

— Да что же я с тобой буду делать?

— Я сама всё буду делать. Я всё умею. Ты не бойся, — я роду хорошего. Отец и братья были первые работники, да в холеру померли. Пахать могу не хуже мужика, а с косой пойду, — так не угонятся. А платы мне не надо... Лишь бы вырваться из проклятого гнезда. Ты не бойся..

В глазах ее вспыхнул дикий огонек.

— Я — злая! Только не с тобой... и не с твоими...

Она на миг тяжело задышала.

— А с псами.... я — собака!

Иван Кирилыч, не отрываясь, смотрел на нее.

И взгляд его тоже был пристален.

— Как ты сюда прискакала?

— У меня своя лошадь — всё имение.

— Садись, попьем чаю.

Но она стояла, не двигаясь.

И он стоял перед ней.

— Оставишь? — брови ее задвигались.

— Ну, что ж... с Богом... оставайся.

Ее глаза вспыхнули какой-то дикой радостью.

И она первый раз, на один только миг, ему улыбнулась, но от этой улыбки лицо ее стало детски-милым, точно другой человек на него взглянул. Это был только миг. Но к сердцу его прилила кровь и словно туман хлынул в голову. Чай они пили молча, как хозяин с работницей.

И разошлись.

На утро Иван Кирилыч отправился смотреть невесту. Шел он туда неохотно и пробыл там недолго. Он сделал вид, что приехал по каким-то делам и мельком взглянул на невесту. Но рядом с ее веселым и хорошеньким личиком ему неотступно, как в тумане, рисовалось другое лицо. Он вернулся как-будто сердитый и сурово взглянул на Анну.

— Запрягай лошадей.

И вышел посмотреть на ее работу, но не помогал ей. В ее руках как-будто всё кипело и принимало новый вид. Она мигом устроила пристяжку, запрягла, села на козлы. Она всё делала, не смотря на него и не спрашивая его, будто век служила у него в работницах и знала все его привычки. И лошади под ее рукой помчали птицами по серебристым и холодным полям. Он смотрел на ее крепкую фигуру, всё что-то хотел спросить ее и не решался. Тайное сомнение мучило его.

— Анна, — сказал он, — садись в санки.

Она повернула лицо и круто кивнула:

— Нет.

И как-будто предостерегала его:

— Я, ведь, недотрога.

Он, наконец, решился на вопрос.

— Анна, ты не обидишься... что я спрошу?

— Нет.

— Ты... не околдуешь меня?

Она как-будто поняла его тайное сомнение, порылась на груди и показала через плечо крест.

— Это мать на меня надела... когда топиться шла.

Больше они не сказали ни слова за всю дорогу.

Дома, на удивленные вопросы матери, он только сказал:

— Погоди, сейчас расскажу.

И крикнул во двор:

— Анна!

Она вошла, степенно поклонилась старухе и стала, ожидая. Иван Кирилыч смотрел на нее, странно смеясь.

— Анна! Я ехал смотреть себе суженую, да, может, нашел ее не там, где искал. Хочешь быть моей суженой?

Она глядела на него, не удивляясь, и просто сказала:

— Я, ведь, тебя тогда же... крепко полюбила.

И вдруг та же улыбка осветила лицо ее, которая делала лицо это таким детски-милым. Он смотрел на нее и ничего уже не видел и не слышал кроме нее...



ОТШЕЛЬНИК

Я ехал степным проселком, по тем глухим местам, где на десятки верст не встретишь жилья, не увидишь человека; лишь по оврагам и балкам вспугнешь где-нибудь желтого зверька, стоящего у своей норы подобно часовому, или одичалую галку, Бог весть, откуда залетевшую и с криком улетающую прочь при виде человека.

На дне оврагов низкорослый кустарник еще разнообразил унылый вид своей свежей зеленью; крепко пахло дикими травами, сквозь тонкую зелень по откосам обнажалось красноватое тело земли. А с вершины увалов открывался вид печальный, будящий смутную тоску, — вид на местность холмистую, как бы застывшую после землетрясения.

Я надеялся к вечеру быть на границе этой пустыни, у цели своей поездки, но одна из тех случайностей, которых всегда бы можно ожидать, однако никогда не ожидаешь, разрушила эту надежду.

Был знойный июльский полдень.

Мы только что стали спускаться вниз по отлогому откосу, вдоль обрывистого края оврага, как вдруг с тяжелым шумом, слева от дороги, поднялась огромная дрофа — эта индюшка степей, величиной с доброго барана. Спала ли эта сторожкая птица, что так близко подпустила человека, или, никого не ожидая увидеть в своей глуши, грезила под зноем солнца грезами пустыни? Испуганная лошадь шарахнулась в сторону, оступилась и вместе с тарантасом скатилась в овраг.

Когда мы очнулись от неожиданного падения, тарантас стоял целехонек на всех колесах, но лошадь лежала на сломанной оглобле и делала тщетные попыт-

ки подняться. Я благополучно усидел, но мой возница, казак из дальнего поселка, совершил небольшой полет и еще сделал как бы несколько акробатических упражнений, после чего поднялся взъерошенный и без шапки, с зеленым от сока травы носом, но как-будто даже довольный, улыбающийся.

— Вот так здо-о-рово! — воскликнул он.

Но смеяться нам пришлось недолго.

Когда мы распрягли и подняли лошадь, она сделала прыгающий шаг, болезненно заржала, прыгнула еще раз и легла. Поджимая свихнутую ногу, она, вытянув шею, беспомощно огляделась, потом, как бы примирившись со своей участью, стала срывать вокруг себя и жадно есть сочную траву.

Мы молча посмотрели друг на друга.

Хутор новоселов, откуда мы выехали, был за три десятка верст, и еще столько же оставалось до Кутемы, а глухой проселок был неделями безлюден.

Мы были в плену у пустыни.

* * *

Этот степной овраг поражал своей дикой красотой. Его красно-глинистые откосы поросли цепкой растительностью, пестрой и колючей, с бледными маленькими цветами, а в глубине, внизу, как бы таясь в сочных травах, протекал ручей, без берегов, по мшистому дну, — чистый, прозрачный, светло отражавший задумчивое небо. Свежий воздух был напоен медвяным ароматом цветов, синих, желтых, белых, пурпурно-красных, разросшихся на всей своей дикой воле по дну оврага причудливым ковром вдоль ручья.

День угасал.

Мы сидели у потухшего костра и задумчиво пили чай, утомленные бесплодными прениями о своем безвыходном положении. Мой спутник уверял, что придется прожить тут дня два, пока не поправится лошадь. По-

том он ушел и занялся лечением коня, прикладывая к ноге какие-то припарки из трав.

Меня поманил степной вечер. Я тихо пошел вдоль ручья, по сочным травам, вдыхая запах цветов. Овраг, чем дальше, становился глубже, я долго шел по его причудливым извивам, пока он не повернул почти под прямым углом. Тут, за поворотом, предо мной внезапно открылась синеватая, безгранная ширь; овраг сбегал куда-то вниз уступами и ручей уже лился каскадами по каменистым бокам откосов. Глубоко внизу серебрилась узенькая лента извилистой степной речки, а за речкой простиралась ширь и даль холмистой степи, безлюдной, задумчивой, немой, как бы навек зачарованной.

Я остановился, пораженный этой волшебной картиной, как вдруг заметил внизу синеватый дымок, и тотчас рассмотрел шалаш близ самого берега речки, а перед шалашом человека, разводившего костер.

Через минуту я был уже внизу и здоровался с человеком.

Это был крестьянин, уже не молодой, очень крепкий, с рыжеватой вьющейся бородой, с лицом угрюмым и задумчиво-важным. Во всех его движениях сквозило сознание своей силы и какое-то подкупающее спокойствие, вызывавшее доверие к нему. Он не удивился моему появлению в этой стоверстной пустыне, приветливо ответил мне:

— Здравствуй, человече!

Но ни о чем не расспрашивал.

Я рассказал ему о случае, который привел меня к нему, он промолчал и на это. Когда же я высказал предположение, что он зашел в эти края за рыбой, он внимательно посмотрел на меня своим умным, немного холодным взглядом и ответил:

— Сюда я пришел совсем, буду жить здесь лето и зиму... пока не наступит скончание времен, как предсказано.

Я смотрел удивленно.

— Сказано: «Верные да бегут в горы», — произнес он еще и задумался.

Я закурил папиросу.

Он гневно взглянул на меня и резко произнес:

— Не погань моего места табачным дымом своим! — но тотчас смягчился и добавил уже тихо, — не греха ради... а не люблю я его. А не можешь, так... кури!

Я поспешно потушил папиросу и далеко отбросил ее от себя.

Это ему видимо понравилось, и он заговорил благосклоннее.

Вскоре мы уже мирно беседовали, и в сумраке надвигавшегося вечера, над светлою рекой, он рассказывал мне свою историю, которая связана у меня с тех пор с крепким запахом степи.

— Я, человече, по-мирскому, по-вашему, — старообряд, двоеданами нас еще зовут... одно скажу: в Бога по старому верю, как деды верили. Было у меня в Челябинском уезде хозяйство доброе, прямо скажу — поместье! И жил я — думал-то я так — по Божьему: не курил, водки в рот не брал, на бабу не зарился... чтобы в карты там, игры всякие, пляс да песни — ни-ни! А богатство мне в дом валом валит. Думаю: «Вот Господь видимо воздает сторицею». Бывало по округе неурожай, либо кобылка привалит из-за Тобола, червь, а у меня во ржи не продерешься, овсы наливные стоят, на пшеницу сердце радуется. И родитель у меня был старец хороший, но человек крутой, старого леса дуб, как это говорится. Он мне всё хозяйство предоставил, а только когда, лет под тридцать, понравилась мне одна девица, из небогатой семьи, он свою власть обнаружил.

— «Я, — говорит, — женю тебя по своему выбору, а ты родительскую власть почитать должен, а она — от Бога!

— Ну, что ж... Горько мне было, а о родительской

власти и я так же понимал. Поспорил, потужил... покорился!

— И женил меня родитель на девице очень пригожей, и нравом кроткой, да одно только плохо: незадолго до венца прокралась она ночью в сад к нам, в окно мне постучала, поманила меня, а когда я вышел, в ноги мне пала и, руки целуя, со слезами молила, чтобы я отказался от нее, — мол, любит она другого. И слова ее близки были моему сердцу, потому что ту, первую свою, забыть я не мог. Стоял я и слушал, да и заплакал вместе с нею.

— Не могу, говорю, — выйти из родительской воли, ибо обязан родителю во-век покоряться... Но ведь я и сам другую люблю!

— Встала она и тихо ушла от меня.

— А в скорости нас и повенчали.

— Сказал я тогда жене своей:

— Волю родительскую исполнили мы и жизнь свою соединили... в остальном наша воля... Я тебя насильно не хочу! Пожелаешь ты иметь меня — волю твою исполню, не пожелаешь — волю твою уважать буду.

— Как сказал, так и сделал.

— И три года прошло, как один денечек: рядом живем друг с другом, но яко девственники. Вижу, тоскует и грустит она, чахнет, как былинка степная... А тут родитель доведался и стал тучи черней: почему нет детей у нас! И стал родитель наступать на меня ногою твердою, но моя-то воля тоже... кремневая!

— Это, говорю, — дело силком не делается. Волю, — говорю, — твою, отец, исполнили, а дальше... Божий предел!

— И из житий святых, из книг старинных ему примеры привел, как мужья с женами девственность свою, по согласию взаимному, соблюдали.

— Приводил он ко мне начетчиков, убеждал, грозил, проклятье сулил, а напоследок того оставил. Я же в размышление впал!

— Как так?.. Что-то неладно, — думаю себе. — Есть же, значит, предел родительской власти! И ежели тут я своей совести отцовской воле не покорил, то прав ли я, что и в браке подчинился? Моя жизнь пропала, куда ни шло... а вот рядом со мной человек духом своим мается, сердцем разбитым скорбит и тужит.

— И теплом, и нежной такой жалостью к жене наполнилось мое сердце. Забыл я ту, прежнюю, и повернулся к жене своей, и вот словно первый раз увидал: кротка и мила она нравом своим, видом хороша, а лицом как цветок завядший. Пошел я к ней и сказал:

— Полюбил я тебя...

— И тут опять она передо мной заплакала, на колена пала и, руки мне целуя, заговорила:

— Уважаю я тебя и воле твоей покорюсь, а любить не могу... не могу того забыть, и век не забуду. Сердце мое с ним... Прости!

— Вышел я от нее, и буря во мне поднялась, и мысли, как волны!

— Не так, — думаю, — люди живут!

— И, чем больше думаю, тем больше вижу: не так! Предались, вижу, люди земному, тленному, а душу втуне оставили. А ежели и заботятся о душе, — токмо о своей! И кто этой своей душой поступится, дабы другому было хорошо, кто положит ее за други своя? И вижу: никто! И вижу: на мирских ли, на наших ли, одинаково, лежит печать антихриста, и жизнь их — вавилонское царство!

— И стал я глядеть и всматриваться... на неправде мир стоит, неправдою держится. Бедняки весь век свой маются, а богатые сидят, обнявшись с богатством своим. И ежели все — дети одного Отца Небесного, то кому служат богатые, копя сокровища и пряча их в подвалы крепкие от бедных братьев своих? И понял я: антихристу! И увидал я печать его на мне и на жене моей. Ради приобщения богатства соединил меня с нею отец мой, сердца наши наполнив тоскою и горечью.

— И возмутился я духом своим! И пошел я к отцу и сказал ему:

— Разделимся!

— Удивился он, испугался, потом разгневался.

— На то воли моей нет! И не будет! Почему так выдумал?

— Хочу зло исправить, — говорю, — снять с тебя печать.

— Какую печать?

— Антихристову!

— Потемнел отец, как туча, из-под седых бровей зорко смотрит на меня.

— Откуда она на тебе?

— От вас, — говорю, — от всей жизни!

И всю черную горечь снял я с души своей, высказал ему и говорю:

— Выдели мне мою часть!

— Зачем она тебе?

— Отдам тем, у кого нет!

— А сам с чем будешь?

— С Богом! — говорю.

— А жену с чем оставишь?

— Со Христом! — говорю.

— И был отец на меня так зол, что засмеялся.

— И впрямь, — говорит, — она — невеста Христова через тебя. И род мой прекратился на тебе. Не сын ты мой, а изменник!

Вскочил, затрясся, закричал:

— Сумасшедшим объявляю! Не хозяин ты больше! Ничего не выделю тебе... всё другим оставлю, а тебе ничего! А твою часть... нищим, нищим раздам, коли хочешь!

— За свою душу? — говорю.

Кричит отец на меня:

— За свою!

— Хорошо, — говорю, — я согласен.

И в ноги ему поклонился.

— Прощай! — говорю.

Пошел, а он тихо так спрашивает:

— Куда же ты?

— К Богу! — говорю.

— Неужто... совсем уйдешь?

— К Богу в гости не ходят.

Заплакал отец.

— Прости, — говорит, — может, и впрямь я не прав... возьми свою часть.

Жалко мне его стало, а не могу с сердцем совладать.

— Нет, — говорю, — это — выкуп за душу твою.

И ушел.

Пришел я к жене своей, говорю ей:

— Сестра моя! Хочешь ли быть свободной?

Взглянула она, вспыхнула вся, молчит и смотрит.

И говорю я ей:

— Придет завтра и не будет меня... исчезну я! И, как пройдет пять лет, расторгнут будет наш брак, за безвестным моим отсутствием. Ты будешь свободна и себе госпожа... Но никому больше, — говорю, — сестра моя, души своей не подчиняй, токмо воле Божией!

В ноги ей пал.

— Прости, — говорю, — через чужую волю обездолил я тебя... через свою исправляю!

Она бледна, смотрит на меня да молчит; и вдруг к рукам припала, целовать хочет. Но я обнял ее, поцеловал, первый и последний раз, как сестру любимую, и вышел.

В ночь пошел на станцию, верст пятьсот отмахал в вагоне, да и вышел на вольную землю, пошел по царству. Взяли меня в скорости же за бесписьменность. По этапу гоняли, на харчах у казны сидел.

Так семь лет промаялся.

И вот гнали меня раз по степи, этапным порядком, пришла мне думка ночью:

— Уйду!

Да и ушел.

Глухими местами шел; днем спал, где придется, по ночам, как волк, пробирался, всё дале и дале, да и забрел в степь непроезжую, непрохожую, в овраг степной, — в это самое место... да тут и останусь, пока не придет скончание времен... или мое скончание.

Он смолк.

Уже степная ночь обняла нас, обвеяла своим теплым, нежным дыханием, и мириады неведомых миров ярко сияли в небесах.

— А она? — тихо спросил я.

Отшельник помолчал, в глубокой задумчивости, потом так же тихо, почти неслышно, сказал:

— Не утерпело сердце... прошел я теми местами, ночью прокрался... да в окно, как птица ночная, заглянул, — в окно-то ее милого. Вижу: сидят за столом, под кивотами, ужинают... хозяйкой она там, и дитя сидит возле нее, а она такая светлая! Заколотилось во мне сердце... и слезы, человече, слезы... думаю: «Значит, простил меня Бог!». А сам плачу, вот плачу... удержаться не могу... не то от радости за нее, не то... и прокрался я мимо хат, за село, в степь... и пошел по теми ночной.

ТРАГИК

(ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДУШИ)

Колокольчики пропели по селу и серый возок остановился у поповского дома. Из возка вылез человек, очень высокий, в мохнатой шапке и длинном тулупе. Взобравшись на крыльцо, он так принялся набатывать в дверь, что в доме всполошились, у окон замелькали лица. Кто-то легко и спешно пробежал по сенцам и дверь отворилась.

— Вам кого? — прозвенел детский голосок.

— Батька дома?

Голос человека был густ и деловито-серьезен. Не дожидаясь ответа, он с шумом продвинулся в дверь мимо крошечной девочки в коротком платьице, худенькой и голубоглазой, смотревшей на него снизу вверх, как на колокольню.

— Поповна, что ли?

Сдержанный рокот его голоса наполнил морозные сенцы.

— Дочка, а?

— Дочка.

— Как это ты до крючка-то достала? Удивительно! А раздевкой-то ходишь зачем, ведь простудиться можно. Ну-ка, поди-ка сюда ко мне.

Из воротника, склоненное к ней, на нее смотрело мохнатое, черное медвежье лицо, рябое, некрасивое, толстоносое, с зверски двигавшимися, будто жевавшими челюстями. Руки, как лапы, протянулись к ней. Можно было заплакать и убежать. Но смеющийся добрый блеск в глубине выпуклых глаз привлек девочку и она доверчиво отдалась протянутым рукам. Приезжий поднял ее и спрятал на груди, совсем с головой в меховом тепле пазухи, как котенка. Затем, согнувшись в дверях,

проник в теплую прихожую. Из прихожей манила к себе уютом крошечная столовая, где у окна в сад, — с запушенными снегом деревьями, — стоял длинный стол, крытый белой скатертью и уставленный всякой снедью вокруг кипящего самовара. Человек потянул носом: пахло горячим пирогом, топлеными сливками и жарком самовара. Всё вокруг было такое теплое, белое, уютное, вкусное, что он радостно крякнул. У двери, в молчаливом ожидании, стоял батюшка, худой и неуклюжий, с детским личиком и голубыми, наивными глазами. Светлая бородка была словно нарочно приклеена к его личику, а густые золотистые волосы, ниспадавшие вдоль щек, напоминали сияние. От стола с любопытством смотрела пухлая, круглая, лениво-спокойная попадья.

— А угада-а-йте, — густо заговорил гость, — а что я вам такое привез?

Батюшка с недоумением смотрел на его оттопыренную грудь.

А попадья ахнула.

— Уж не собаченку ли где подобрали? Страсть сколько нынче блудящих собаченок развелось. Завезут в поле...

Заглушенный детский смех прервал ее.

— А это я-а-а...

Лукавое личико выставилось из-за полы тулупа.

— Собаче-е-нка!

Гость громко засмеялся и лицо его стало нелепо добрым. Он опустил девочку на пол и она тотчас же бросилась на отца и на мать с звонким, смеющимся лаем.

— Вау, вау... вау... собаче-е-нка!

— Ату-у их! — поощрял гость, освобождаясь от тулупа и шапки.

Оказался духовный, плечистый и плотный, крепко сложенный в черной рясе, с священническим крестом на груди. Крупно-кудрявые черные волосы рассыпались вокруг его лица, такого мясистого, скуластого и

зверски заросшего, что с первого взгляда можно было испугаться. Но в то же время лицо это было такое мужественное, что возбуждало доверие, а моментами вспыхивающая добрая улыбка сразу привлекала. Он расправил плечи, выпрямил грудь и каким-то круглым жестом протянул руку батюшке.

— Здравствуйте, коллега!

Деловито откашлялся.

— Честь имею представиться: иерей Невзоров из Богдановки, зовут Павлом. Матушке низкий поклон!

В крошечной комнатке голос его звучал, как добродушное ворчание медведя. Батюшка мягко и вежливо выражал свое удовольствие видеть его у себя в доме, а матушка уже бренчала посудой, наливая гостю чай и приготовляя угощение.

— Ужасти какие холода стоят, — говорила она, — а у нас нынче пирожок горячий.

— Чувство обоняния уже известило меня об этом, — ответил гость.

Он опустил руку на голову девочки.

— А как зовут Брунегильду сию?

— Что-с? — не понял батюшка.

— Имя, имя? Какому святому посвящена?

— Нина.

— Нина, Ниночка, Нюша, Нинюша... прекр-расное имя! А еще такие есть?

— Две.

— В порядке постепенности?

Он показал рукою от полу выше и выше. Батюшка засмеялся и показал еще выше.

— И двое мужского пола помимо того, один уже в духовном учится, другой в семинарии.

— Р-рай!

Гость шумно вздохнул.

— Ужасно люблю детей. А у меня нет, Господь не сподобил. Приходится чужих любить. Да ведь все дети Христовы... правда?

Так разговаривая, он с удобством расселся за столом, как у себя дома, и принялся за угощение. Чай наливался быстро стакан за стаканом, а пирог исчезал кусок за куском с поразительной быстротой, что уж немного и беспокоило матушку. Батюшка же в наивном восхищении смотрел на зверски жующие челюсти гостя, поражаясь их энергией. А гость гудел с набитым ртом.

— Вы уж меня извините, коллега, я всё люблю делать на чистоту. Пить так пить... есть так есть... работать так работать. У меня всегда так. Праздности не люблю... ха-ха! Что наша жизнь... мечта!

Он делал круглые жесты свободной рукой, временами как бы декламировал, затем сразу переходил на обычный тон.

— Миг один... и нет волшебной сказки!

— Не успеешь как следует попить, поесть, и в могилу ложись. Ха-ха! Заступ, заступ, да черное сукно, да три шага земли, земли нам нужно всем равно. Правда что ли, матушка? — скосился он на попадью.

— Уж я и не знаю, батюшка, что вы такое говорите...

— На лишний кусочек намекаю.

Он положил себе еще пирога и вдруг пугающе повернул лицо к девочке, смотревшей на него смеющимися глазками.

— Показать что ли, плутовка, где раки зимуют?

Ухватил своей лапой ее маленькую ручку и увел куда-то в карман подрясника. В ручке оказались конфетки. Девочка взглянула на них, конфузливо и нежно посмотрела ему в глаза и вдруг порывисто прижалась к нему. А он, быстро покончив с пирогом, крепко утерся и с довольным видом крякнул:

— За угощение приношу благодарность. Чувствительно тронут, в дребезги обласкан, сыт, пьян, и нос в табаке. А теперь к делу.

Расправил усы.

— С двух слов, коллега: хотите меняться?

Батюшка взглянул удивленно.

— Чем?

— Ну понятно, не попадьями, ха-ха, — рассмеялся гость, покосившись на матушку и выразительно подмигнув ей, — приходами, коллега, приходами. У меня приход — золотое дно! Ведь знаете Богдановку... что ж говорить. Каждогодно Табынская Владычица приходит, по три дня гостит. Горожане наплывают тысячами, деньги льются рекою. Не совру нисколько: полторы тысячи только мне остается, не считая причта. А иногда и две. Матушка у меня в шелках щеголяет. В город приедет, в шляпке страусово перо, боа через плечо, всякие премудрости и туфельки лаковые. В саду на променаде даже шепчутся: вон богачиха гуляет, попадья богдановская! Для меня лично деньги — тлен. Щегольства не люблю, роскошь презираю. Детей нет: для кого копить сей прах и пепел? Да и другое на уме... А кому это надо, лучше места не найти.

Он покосился на попадью.

— А сборы хорошие у вас? — спросила та.

— Сборы?

Он пошевелил бровями.

— Один кончается, другой начинается... круглый год масляница. Я лично манкирую, хотя попадья иной раз и грызет меня. Другой же бы на моем месте купался в масле, спал на шерсти, а яйцами да хлебом развел бы оптовую торговлю.

— И птицей дают?

— При каждом бракоповенчании обязательно пернатое.

— Курочками?

— И гуськами-с, матушка, и гуськами-с... народ у нас птицевод.

— Господи...

Матушка с жадным огоньком в глазах взглянула на мужа, но батюшка опустил глаза и по лицу его прошла тень неудовольствия.

— Умножение забот, — тихо сказал он, — нам ведь и здесь не голодно.

— Зато вы примите во внимание какая у вас глушь! Богдановка же от города всего-на-всего двадцать две версты. Захотели детей повидать, — пожалуйте! Захотели в гости, в кинематограф, в театр... рукой подать!

— В театр? — недоумевающе раскрыл батюшка глаза.

— Ну да... разве семинаристом не любили посещать?

— Семинаристом... оно конечно...

— А что же изменилось теперь? Искусство всегда искусство. Говорится даже святое искусство! Неужели винт или пулька предпочтительнее и, скажем, безгрешнее. Предрассудки, коллега, предрассудки заели всю нашу жизнь. Воздух искусств, веющий вокруг человека, — сказано у Писемского, — успокоителен и освежающ. Глубоко верно! Поверьте, коллега, по натуре моей пожалуй бы спился, если бы не увлечение искусством. Люблю-ю театр! Я даже в первых классах семинарии трагедию писал.

— Трагедию?

— Называлась «Мария Стюарт».

— Да ведь кажется есть такая...

— Ха-ха... знаю. Ничего-о! Я ведь для души. Своего-то Бог не дал. Хор-р-ошее было время. Попозже я в любительских спектаклях выступал. В «Грозе», в «Борисе Годунове». И с весьма даже значительным успехом. Одно время мечтал на сцену поступить и раз короля Лира играл в театре.

— Неужели играли?..

Матушка так и превратилась вся в жадное внимание, а батюшка смотрел на гостя с наивным восхищением.

— Лира?

Глаза его сияли.

— В театре?.. В настоящем?!

— В городском, самом настоящем.

— И с успехом?

— Фурор, коллега! Вы помните Лира?

Он встал, откашлялся и лицо у него сделалось зверским.

— «Злись, ветер!!».

Трагически выбросил руки и крест запрыгал у него на груди.

— «Дуй, пока не лопнут щеки»!.. У меня память прекрасная... «Вы хляби вод, стремитесь ураганом, залейте башни, флюгера на башнях! Вы, сер-рые и быстрые огни... предвестники громовых тяжких молний...».

Он ревел.

— «Дуб-бов кр-рушители»...

Матушка зажала уши.

— Оглушил!

— Фурор, Корделия, не правда ли? — обернулся он к ней. — Голосок-то у меня в то время еще слаще был. Как рявкну, как пущу в октаву: «гр-ром небесный, разбей природу всю! Расплюсни разом толстый шар земли! И разбросай по ветру семена, родящие людей неблагодарных...».

Он метался над столом, багровый и лохматый.

— «Р-реви всем животом! Дуй, лей, греми!! Чего щадить меня? Огонь и ветер... и гром и дождь — не дочери мои...

Потрясал руками над головой.

— О-о-о... поз-зор-р!!

Смолк.

Со вздохом сел и приняв вид деловито-серьезный, круглым жестом показал на себя.

— Я тр-рагик, коллега... трагик по натуре!

У батюшки от восхищения было совсем детское лицо.

— Так почему же вы...

— В иереях?

Тряхнул головой.

— Судьбы ошибка роковая. А впрочем, коллега: пути Господни неисповедимы. Но тот день, когда Лира играл... золотой день в моей жизни! Да будет он благословен, день тот! А вышло это случайно. В то время был я уже в шестом классе семинарии. И вот как-то на любительском вечере познакомился с антрепренером местного театра, Мигрель-Запольским. Толстый такой человек, шару подобный, лицом, как жаба, один глаз стеклянный, да так искусно сделан, что не сразу отличишь. От одышки играть не мог, а говорят был раньше актер примечательный. С похвалой о моей игре отозвался он, а мне это слаще меда, разумеется. Пошли к буфету, выпили. А потом в ресторанчик, под машину, да всю ночь и колобродили. Подвалила актерская компания... пи-ир! Уж и на «ты» перешли.

— Ты, брат, талант! — кричит мне Мигрель-Запольский.

Ты, брат, да я, брат... пошла у нас дружба. Пиво рекой, водка водопадом.

— Тебя на сцену надо! — кричит.

А у меня слюньки. Обнимались, целовались. Не помню, кто меня тогда и домой предоставил. Проснулся... в голове треск. Посмотрел в карманы... пусто, — все батькины деньги прогулял, квартирной хозяйке платить нечем. А на сердце петушки! — Талант! — думаю. И сладко. Процвела у меня эта мысль в голове.

— Служить искусству, думаю, не в сем ли призвание мое?

Решил пойти к Мигрель-Запольскому, поговорить с ним вплотную. Время шло уже к масляной неделе, скоро и театру конец. Знаю, днем у них репетиции, пошел, с заднего хода за кулисы проник. Пусто, спросить некого, только со сцены шум идет. Я — к сцене. Тьма. Только какой-то черный человек благим матом кричит и фонарем размахивает, — можно разобрать, что сцена городскую площадь изображает, кругом дома, а у до-

мов люди мечутся, кричат, визжат: актеры, актрисы, а посреди них Мигрель-Запольский, — руками отмахивается, а они как будто разорвать его хотят. Показалось мне сначала, что репетиция, и очень понравилось, вот, думаю, здорово играют. Да вслушался: ссора! Трагик Растакуев с кулаками наступает. — Фара-о-о-н, — ревет, — ты семь коров проглотил!.. И какие-то деньги требует, а за ним и все, — гвалт, крик. А Мигрель упирается: — до конца сезона ни копейки!.. И стеклянный глаз у него так и сверкает. Растакуев ревет: — завтра не играю! Мария Ивановна, пойдем домой!.. Ухватил жену за руку и — за кулисы. Кто за ним, кто остался. Визг, писк! Мигрель кричит: — театр закрою! Тут увидал он меня, узнал, бросился, чуть не обнимает.

— Батенька! Павел Петрович! Не судьба ли тебя послала? Выручай!

— Как?

— Играй завтра Лира!

У меня и глаза на лоб, обомлел.

— Да вы шутите?

— Какие там шутки! Я этого подлеца Растакуева и на порог больше не пущу. Зачем, когда у меня такой талантище завелся!

— Какой, говорю, талантище?

— Да вы ж, Павел Петрович!

Пляшет около меня, дышет как паровик, а стеклянный глаз так и играет.

— Скоро можешь роль заучить?

— Два раза прочитать.

— Ну да там и суфлер подсобит. Бери роль, а завтра на репетицию приходи пораньше.

А сам грозит.

— Я-а-а им покажу!

— Да из-за чего, говорю, распря-то у вас?

— Та-а-к... семейное дело.

Взял я роль подмышку и, уж можете себе предста-

вить, какими саженными шажищами домой летел. Да как заперся в комнате, как принялся реветь:

— «Подайте кар-рту королевства... пора вам знать какое мы даем... пр-иданое...

Хозяйка в дверь стучит.

— Павел Петрович, Павел Петрович!

Дочери, сын, гости какие-то в дверь заглядывают, а я в позе стою:

— «Кор-роль фр-анцузский? И бургундский герцог? Принять их, Глостер!

И жест королевский... ха-ха!

А те думают: с ума сошел, — должно-быть вид-то у меня дикий. Да объяснилось дело, контромарки я им пообещал, и у них радость пошла. Никому я в ту ночь спать не дал: роль свою учил. Под утро часок — другой поворочался на постели, и ко мне сон не идет: и радость, и страх, и сомнение, и жуть, и веселие! Как в тумане вся жизнь. На репетицию загодя пошел, и хозяйкина дочь со мной увязалась, всю дорогу советы давала, и так волновалась, как самой играть. Прошла репетиция хорошо, похвалил Мигрель-Запольский. А там принялись меня и к спектаклю обряжать: бородищу прицепили, лик раскрасили, мантию надели. Взглянул я в зеркало, сердце заколотилось. Король! Король! А там уж звонки звонят, оркестр проиграл, режиссер как бешеный бегает:

— На сцену!

Принял я вид величественный, как моему королевскому званию подобает, а Корделия, — озорная актриска, — шипит сбоку:

— Что это вы петухом держитесь?

Кругом: — хи-хи! Свита, Гонерилья, герцог Альбанский, герцог Корнвалльский — измываются. — Смейтесь, думаю, завистники! Взглянул я на них гордо, выходя на сцену, да совсем про порог забыл... однако удержался, только крякнул некстати. Величественно прошел к столу среди свиты блестящей, приказал принять ко-

роля французского, герцога бургундского, торжественно сел за стол и уже хотел потребовать карту королевства, как сверху, с потолка... бац стул! А надо вам сказать, что трагик Растакуев против меня злобу затаил. И справедливо! Дело прошлое, теперь бы я так не поступил: неловко вышло, — штрейкбрехера разыграл. Что? Ну, заместителя, так сказать, коллега. Не разобравшись, ввязался в скверное дело, Запольскому помог, а он и мошенником оказался, как увидите. Ну, брякнулся стул, так на поларшина от меня, герцогу Корнвалльскому ногу зашиб, в свите переполох. Я же не растерялся, — всё-таки уж сцена-то была дело привычное, — взглянул вверх и говорю:

— Дворец наш ветх становится, Корделия!

А Корделия — фырк!

Так актриска, из захудалых была, на выходные роли, она вместо Растакуевой играла. Ничего, сошло. Герцог Альбанский стул за кулисы выкинул. Я же говорю, продолжая свою роль:

— «Подайте карту королевства!

Кинулись за картой, — нет карты, опять растакуевские штуки. Слышу, за сценой беготня, спор, герцог Альбанский за кулисы кулаком грозит... Скандал! Однако же, и на этот раз я спас положение.

— Обойдемся без карты, говорю, вот тут на столе чертеж королевства нашего...

И пошло дальше, как по маслу, хорошо пошло, на репетиции все изрядно спелись. В антрактах вызовы без конца. Да так бы оно себе и шло, если бы не растакуевские штуки. В третьем действии, помните... в степи... на голом месте, можно сказать, провалился я сквозь землю! Буря, дождь, молнии сверкают, за сценой гром гремит, место самое эффектное, я в самом ударе, говорю как настоящий король:

— «Пусть боги великие, что гром над нами держат, теперь творят расправу: тре-пе-щи злодей.

Сказал, шагнул, попал ногой на трап, и с шумом

низвергся в пустоту и мрак, на сцене только мантия осталась. Как я себе ноги и ребра не переломал, до сих пор не пойму! Пришлось занавес спустить... хорошо, что сцена к концу подходила. А в публике фурор! Театр дрожит:

— Ли-и-и-и-р-а-а!!.

Выходил я, выходил, и с актерами и один, кланялся, кланялся. На зло Растакуеву, случай сей к успеху послужил. Так и до конца шло. Овации! Вызовы. Растакуев по контромаркам клакеров напустил, те свистеть пытались, куда-а там: публика стульями стучит. Мигрель-Запольский руки мне жмет.

— Зверь, зверь... я тебя в «Отелло» выпущу!

А театр ревет:

— Ли-и-и-ра-а!!

— Почему же не по фамилии? — спросил батюшка, с восторженным лицом жадно слушавший гостя.

— Не по фамилии? Да в афишах три звездочки стояло. И то уж на сцену прибегали спрашивать: кто такой? Надо отдать должное Мигрель-Запольскому: не пропечатал, а то бы на другой же день судьба моя инако определилась. Был на спектакле-то учитель словесности, Троицкий, а я и не подозревал, только потом узнал. Уж можете себе представить, в каком я тогда настроении был... в каком подъеме! Ночь, — а на небе у меня четыре солнца и две луны! Ха-ха! Не хожу, а выступаю, не говорю, а возглагольствую. И мантию снял, а всё еще король! Хозяйка с дочерями, в благодарность за контромарки, карету наняла, усадила меня как жениха.

— Королю, — шутят, — неприлично пешком ходить.

А дома пи-ир!

Старшая дочка глаз не спускает, точно фрейлина ухаживает за мной. Сорадовались мне все, обласкали вдребезги, до риз положения. А я всё еще как король выступаю... пока на кровать не отнесли. На утро решил

я твердо: подаю ректору прошение об увольнении и поступаю на сцену. Уж и прошение написал, да пришла мысль: зайду к Запольскому, окончательно условлюсь. Прихожу в театр. А там гва-а-лт, а там плач и скрежет! Позадолжав актерам, позабравши денежки, Запольский с утренним поездом укатил неизвестно куда. Вижу: лица нет ни на ком, обобрал всех Запольский, без гроша на улице оставил.

Увидал меня Растакуев.

— Преда-а-тель!!

Развел я руками.

— Простите, говорю, великодушно, товарищи, не по разуму поступил и вышло скверно, сам вижу теперь, что Мигрель мошенник!

Услыхав такое мое слово покаянное, Растакуев речи лишился, а потом взревел, как бык:

— Честная душа!

Облапил, душит.

— Прости и ты меня!

Ну, что рассказывать... пили! Три дня пили, мертвую. Оказался Растакуев парень чудесный, душа широкая. Всё советы мне давал, от сцены отвлекал.

— Не вяжись, говорит, за нашей жизнью, сопьешься, как утопленник... к тому же голос у тебя оперный, а жесту нет.

И верил я, и не верил.

Проводил их.

Как они уехали, куда уехали, не знаю... остался я с своими сомнениями. А по городку-то, между тем, шум пошел. Ведь у нас все про всех знают. Загуляла молва: Лира семинарист Невзоров играл! Дошло до ректора, должно быть Троицкий съябедничал. Плохой он был мужчина, с репутацией подмоченной. Потянули меня к ректору, совет педагогический собрали.

— Лицедействовал?

Что оставалось? Уперся на одном: знать не знаю, ведать не ведаю. А в душе Запольского благодарю, что

на афише фамилии не проставил, сказать-то и нечем.

Троицкий злорадно шипит.

— Я ведь был тогда в театре и узнал вас. Сознавайтесь-ка лучше.

— В гриме, — отвечаю, — и актера не узнаешь, кто такой.

— А я узнал!

— Сходство обмануло.

— Я вас по голосу узнал!

— Мало ли голосов одинаковых. Поставьте меня с тем актером рядом, так и увидите различие.

Троицкий шипи-и-т, не любил он меня.

— Про вас весь город говорит.

— Слух не доказательство... мало ли что про вас тоже весь город говорит.

Пальцы у него в воздухе заиграли.

— А что? А что?

— Неловко рассказывать.

— Нет р-расскажите... расскажите!

— Если отец ректор разрешит.

Совет уткнул носы в бумагу, ухмыляются, ректор же мрачно говорит:

— Это к делу не относится.

Бились, бились, так и отъехали, только поведение сбавили за строптивость. Ну, а в то время у меня как-раз роман шел. Влюбилась в меня хозяйкина старшая дочка, пошли мы по углам секреты секретничать. Блондиночка приятная. Люблю красоту... говорю прямо. Воспылал и я! Кончил семинарию, сейчас под венец! А там... как видите...

Он рассмеялся.

— По чину, Мельхиседекову!

Вздохнув, шумно тряхнул головой.

— Судьба!

Сделал круглый жест и задекламировал:

— «И так мы станем жить... и петь... молиться,

сказки сказывать... и наблюдать мы будем сущность дел!

Матушка тихо засмеялась. Незаметно Нина уже забралась на колени к о. Павлу. Батюшка не спускал с лица его наивно-восторженного взгляда.

— Но почему же вы хотите уходить из Богдановки? — спросил он.

— Театр! Непреоборимая страсть сия всему причиной. Не могу! Как войдет, знаете, тревога в душу, места не найду себе, тянет... к свету этому, к толпе, к шумку, к запаху... к пыли закулисной тянет, к шороху декораций, к лицам раскрашенным, к смешным этим костюмам сказочным. Какой-нибудь меч картонный мне всю душу переворачивает, как игрушка с елки. Не поверите, коллега... во сне играю!

— Да что вы? смеялся батюшка.

— Уверяю вас! То я мавр какой-нибудь, полководец знаменитый, то король, то император, — всегда первые роли. Попадья смеется: когда, говорит, ты начнешь во сне ворочаться и бормотать, то мне хочется в ладоши хлопать, — уж наверное, играешь! Она у меня чу-у-дная! Ну, запряжем мы лошадку, да и в город. Она в партере засядет, я за кулисы. Актеры у меня приятели, в гости ко мне ездят... друзья! Вот и пребываю я за кулисами, таюсь во тьме, а то в ложе губернаторской, когда пустует, прячусь за занавеской. И еще нет мне больше удовольствия, как гром за сценой делать... Однако же, шила в мешке не утаишь. Стало надо мной духовенство подсмеиваться, стал благочинный намекать насчет разных слухов. А там нашлись радетели, и епископу донесли. Вызывает меня епископ. Ведь вы знаете какой он? Выходит, как всегда, спокойный и загадочный, высокий и странный, словно неживой, за очками глаз не видно.

Спрашивает:

— Вы знаете мнение святых отец о театре?

— Знаю, владыка.

— Как вы к нему относитесь?

Вот так вопросец... что ответишь? Не стану же я опровергать святых отцов. И вижу по вопросу, что знает он обо мне, а что знает, неизвестно.

— Ваше преосвященство, — говорю, — о вине сказано, что в нем блуд и упиваться им преступно. Однако же, Христос однажды воду претворил в вино, — значит, бывают исключения. Так и театр. Во времена святых отец были действа и игрища бесовские, и они их осудили, что вполне правильно. Но высокие творения духа человеческого, — творения искусства, — прекрасны и поучительны.

Смотрит на меня, четки перебирает.

— А не благоугодно ли вам приискать другой приход?

— Почему, владыка?

— Потому что не все смотрят на вещи вашими глазами, и соблазняются. А так как свободных вакансий нет, поменяйтесь с кем-нибудь в глуши уезда.

— А как далеко, владыка?

— Так верст за полтораста.

Благословил и ушел.

Спорить не станешь, да к тому же, если бы он потребовал обещания не бывать в театре, я такового по совести не мог бы дать. От своей души отказаться? Шутки, маменька! Стало быть, уходить надо. «Натянут лук — не стой перед стрелою»! Но это меня только воодушевило, появилась у меня мечта!

Он сделал веселый жест.

— Всех перехитрю! Заеду в глушь по слову владыкину... Народный Дом заведу! Теперь на них мода. Крестьян уговорю, земство подсобит...

— Тут по соседству, в Щавелове, есть

— Народный Дом?

— Хоро-оший.

— Трахну в Щавелово! Соблазню попа меняться.

— Он-то согласится.

— Чудесно. Соседи будем. Радость велия! Вас-то, вижу, не соблазнить...

— Да нет, — опустил батюшка глаза, — здесь хорошо, в глуши-то...

— «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», — а вы поэт! У меня глаз зоркий, я это сразу увидал. Друзьями будем, коллега!

— Но почему же вам, собственно... Народный Дом?

О. Павел вскинул руки над головой.

— Театр устрою! Какой же Народный Дом без сцены. А се закономерно, не подточишься. Из мужичков актерики найдутся, они люди талантливые и еще нетронутые, а язык искусства всем понятен и привлекателен... воспитаем!

Он продолжительно и громко засмеялся.

— Та-а-кую антимонию разведу-у!

Вдруг нежно прижал к себе девочку.

— Приедешь что ли ко мне в гости, королевна?

Она посмотрела на него серьезными глазками и доверчиво положила головку на плечо.

Он зверски зажевал челюстями.

— Эх-х... так бы я увез тебя с собой! Знаешь? Подставь ухо. Я расскажу тебе сказочку. Я сочинил ее одной маленькой, маленькой девочке, которую очень любил...

У меня волшебный замок
Наверху горы стоит.
В нем чудес полны палаты,
Крыша золотом горит.
Хочешь? Белого медведя
Я в ливрею наряжу,
Что б служил тебе, — тебя же
В трон хрустальный усажу.
Хочешь? Куколки смешные
Станут танцы танцевать,
А игрушки заводные
И резвиться и скакать?

Старый ворон знает сказки...
Не соскучимся вдвоем —
Я, король, ты, королевна, —
В царстве сказочном моем.

Нина захлопала ладошками.

— Ка-ак хорошо-о!

Он заглядывал в ее загоревшиеся глазки.

— И тебя буду очень любить... хочешь?

Она молча протянула свои ручки по плечам его и обняла.

...Вскоре он снова залез в свой длинный тулуп и нахлобучил мохнатую шапку.

— До свиданья, коллега. Матушке низкий поклон Нюша, Нинюша...

Чета духовных сияла.

— Желаем вам успеха... вот рады-то будем, если по соседству устроитесь!

Усевшись в возок, он еще раз помахал рукавом стоявшему на крыльце батюшке и покивал мохнатой шапкой окнам. Сквозь стекло улыбалось ему детское личико и крошечная ручка приветливо мелькала над головкой. Как медведь, он проревел из возка.

— Пр-р-ривет, коллега!

Возок тронулся и скрылся за углом. И уж колокольчики давно смолкли, а батюшка всё еще стоял на крыльце и чему-то задумчиво улыбался...



С У Д

1

Над степью опустилась ночь — такая темная, что звезды на черном небе казались лампадами. Взлобки, курганы, степные балки — всё окутала мгла, — тихая, сонная: в ней звуки конского топота отзывались далеко.

Это была бешеная скачка.

Кони уносились вихрем, фыркая и храпя от натуги, тарантас прыгал, кричал, дребезжал всеми гайками и спицами.

Но седоку было мало такого бега.

Согнувшись в тарантасе, точно высматривая из-под руки невидимую даль, он со свистом опускал длинный кнут на лошадиные спины.

Бег коней превращался в вихревой полет: казалось, — не касаются они земли ногами, а летят, рассекая воздух, то проваливаясь в балки и овраги, куда уводила дорога, скакали там по кочковатому дну высохшей речки, — то вновь вылетая на степной простор.

— Стоп!

Этот тихий возглас был хорошо знаком коням.

Они мгновенно останавливались.

Замирали.

Седок прислушивался, внимательно и молчаливо, к ночной тишине.

Степь спала.

Временами бесшумно вспыхивали на горизонтах зарницы. Грудь степи тихо и ровно дышала ароматами трав. Но сквозь это дыхание явственно доносился издалека стук многочисленных лошадиных копыт. С каждой

остановкой седок слышал его ближе и ближе. Он надвигался медленно, но неумолимо, как рок, как судьба, как опасность, от которой веет дыханием смерти.

Тогда вновь со свистом вздымался в воздухе кнут.

— Выносите! Э--эй... дружки!

2

Восток разгорался.

Вот точно костер там вспыхнул. Вот взошла багровая и большая луна. В степи стало светло. Взлобки и курганы, бросая черные тени, обозначились ясно и меж них дорога вилась, как лента.

Седок оглянулся.

Черные тени всадников видны вдалеке.

Не из стали ли вылиты их кони?

Не отстают, приближаются, нагоняют.

Он уже мог приблизительно определить их число: двенадцать или тринадцать. Безнадежным и унылым взглядом окинул он степь.

— Спасения нет!

Ровная, как скатерть, степь убегала в ночные горизонты и только курганы там и сям на ней стояли, как молчаливые стражи. Но за них не спрячешься, они не защитят: они безучастны к друзьям и врагам. Да и есть ли в степи такая нора или балка, где бы можно было схорониться, где бы с гиком и свистом не настигла погоня.

Страшный и роковой час настает!

Но, стиснув зубы, он решил не сдаваться до последней минуты, будто надеясь еще в глубине души на невозможное: исчезнуть с глаз погони, притаиться, пропустить ее, обмануть ложным следом.

Привстал, осыпал лошадей градом ударов.

Напрасно!

Взмыленные кони задыхались.

Уже стал спотыкаться коренник.

Близка минута, когда им изменят силы и они отдадут его во власть его судьбы.

Он отчаянным взглядом осмотрелся.

Если б была вблизи пропасть, он, не задумываясь, ринулся бы в глубину ее, более доверяя счастливой случайности, спасающей храбрых, чем преследующих. В этот торжественный момент своей жизни он внезапно и как-то враз вспомнил прошлое, будто с высоты взглянул на него... и не почувствовал раскаяния. Напротив, — в душе закипела непримиримая злоба.

3

Внезапно перед ним блеснула серебристая гладь реки. Таинственной сказкой зазвучал ее мелодичный рокот в крутых берегах, на лучистых перекатах.

Удивился.

Он думал, что река еще далеко; — а она так близко... как же он мчал!

Последний шанс к спасенью...

Скорей, туда... в глубину... на ту сторону, где глядит черной стеною лес.

Это самая запущенная чаща.

Он знает ее.

Лишь бы добраться до опушки, бросить коней, скользнуть в густую заросль. Там не найдет его никакая погоня: бурелом не даст и шагу ступить коням: А потом он уйдет, навсегда уйдет из этих проклятых мест!

Зорко присмотрелся.

Туда, где крутой берег шел скатом, направил коней и стал хлестать их и улюлюкать, чтобы заставить броситься в воду.

— Безпа-а-лов... сто-ой!.. — донесся вслед десяток голосов.

Но возбуждаемые ударами кони уже птицами кинулись по крутому спуску. Тарантас запрыгал, завертелся и, вместе с комьями оторвавшейся земли, с шумом и плеском врезался в светлую гладь.

— Безпа-а-алов...

В затонувшем тарантасе он встал во весь высокий рост и, не спуская горящих глаз с спасительной чащи, понукал коней то ласкательными, то гневными словами. Вокруг вода кипела серебристым кипеньем: тысячи искр, блестящих и острых, вспыхивали и гасли с мелодичным звоном. Точно русалки ныряли в глубине белыми телами и вдали на перекатах в лунном свете выплывали сказочные тени.

Коренник стал захлебываться и погружаться с головою.

Безпалов поспешно вынул нож, ступил на оглоблю и, дотянувшись до спины лошади, перерезал черезседельник.

Лошадь фыркнула и поплыла свободно.

Вот уже берег недалеко.

Тарантас коснулся дна.

В этот момент позади точно обрушился берег.

Безпалов обернулся.

Черные точки плыли за ним по серебру реки. Один за другим падали в воду с крутого берега всадники. Только один остановился на самой круче, облитый лунным светом.

Привстал на седле.

Приложил к плечу винтовку.

— Стой!!..

Уже мокрые лошадиные спины показались из воды. Уже колеса с шумом бороздят воду по отмели. Еще одно последнее усилие, минута скачки по песчаной косе, и темная чаща укроет его, спасет в своих дремучих недрах, где знакомы ему все звериные тропы, все норы и непроходимые углы.

Он бешено свищет, кричит, улюлюкает на обезумевших коней.

...Вспыхнула молния.

Далеко по речной глади, по степи и лесу пробежал трескучий звук выстрела.

Коренник упал.

Безпалов бросил возжи и, стоя в тарантасе, обернулся и выпрямился.

Ждал.

Всадники, один по одному, настигли его, окружили кольцом, с винтовками наготове, спокойные, решительные.

4

Месяц сиял полным блеском.

Играл, — точно купаясь, — в реке серебристыми переливами, слушал сказки на шумящих перекатах. Задумчиво освещал суровые лица казаков.

Это всё были знакомые Безпалову лица.

Вот бородатый и рыжий, с насупленными бровями Шилов, когда-то бывший атаманом. Он, очевидно, предводительствует. Вот угрожающее лицо Морева, которому он, Безпалов, не мало причинил неприятностей. А вот Бахарев. Вот сухой и тонкий Дрозд. Вот неуклюжий и черный Ворон, самый непримиримый его враг. Все они здесь, кому он причинил лютую беду, все они сговорились погубить его и разом отплатить за всё.

Безпалов понял:

— Погиб!

Смерть смотрела в глаза ему.

Он твердо знал, что не встретит пощады.

Точно в последней надежде увидеть защиту, обвел он глазами мутное небо, туманную степь, немую опушку леса.

И была река, как серебристая дорога к смерти.

А месяц — светлая дыра в безгранные пространства. Безпалову показалось, что он сейчас нырнет туда и понесется в неведомые бездны.

Грудь застлало предсмертной тоской и в голове ярко встали злобные и отчаянные мысли.

Он угрюмым взглядом обвел преследователей и сказал:

— Ну? Что вам от меня надо?

— А зачем убегал? Стало-быть, — знаешь...

Эти слова тихо произнес Шилов.

А Ворон зло закричал:

— Молись, лиходей... твой час настал!

— Безпалов! — попрежнему тихо заговорил Шилов: — красноярское общество устало сносить твое злодейство. Вспомни всё зло, которое причинил ты нашему обществу. Покайся в этот последний час твоей жизни. Испроси у Бога прощенья...

Помолчал.

— Ты не выйдешь живым из нашего круга.

5

Безпалов дико и зло закричал:

— Мне не в чем перед вами каяться! Вы мне не судьи!

Шилов угрюмо нахмурился.

— Молись! — твердо повторил он, — не трать время. И пусть Бог тебя простит, как мы тебя прощаем.

— Прощенье?!

Безпалов яростно плюнул.

— Вот мне... ваше прощенье! Вам что? Убить меня надо? Вот я! Убивай! Но душу не трави подлыми словами.

Казаки взволновались.

И кони под ними затанцовали в светлой воде.

— Есть ли у тебя душа-то, разбойник! — зло крикнул Ворон.

Дрозд грозил ему:

— У пса есть душа, а у тебя нет!

— Лиходей!

— Полстаницы обездолил!

— Тебя общество осудило... приговорило.

Кричали Шилову:

— Петр Василич! Распорядись...

— Как велено!

— Что с ним время тратить!

— Он за слова хочет спрятаться...

Безпалов обвел их гордым вглядом.

— Я не прячусь. И бороться с вами не хочу! Вот у меня нож... вот револьвер.

Выхватил из-за пояса нож, револьвер, и бросил их перед казаками в воду к лошадиным ногам.

— Я не защищаюсь! Вы меня давно убили... Доканчивайте!

Страстно кинул им:

— Но пусть кровь моя задушит вас! Пусть захлебнутся в ней ваши дети!

6

— Безпалов!.. — строго крикнул Шилов, — напрасно оскорбляешь нас. Напрасно теряешь время, думая обмануть. Ты помянул про суд. Кабы были против тебя улики, мы бы не взяли на свою душу греха. Ты знаешь меня. Я старый человек, в боях бывал, лицом к лицу смерть видел. И не терплю неправды. Не пошел бы я на такое дело, если бы его справедливым не считал. Не мало ты сирот обездолил, Безпалов! Не мало народу на тебя плачется. Н-ну... сам знаешь... шел молодец на удалыя дела, — и ответу не бойся.

— Умри казак со славой! — мрачно рассмеялся Ворон.

— И не вини нас в крови своей. Признай нашу правду. По совести! Ведь сейчас ты до Бога пойдешь. Или ты думаешь, коли нет на тебя явных улик, то и прав ты, — отпереться можешь...

— Не трать пустых слов, Петр Василич! — угрюмо и твердо сказал Безпалов. — Коли убивать велено, — убивай! Смерти я не боюсь; а слов ваших про правду да про совесть и вовсе не испугаюсь. Уж коли до слов дело дойдет... смотри, как бы у тебя самого глаза стыдом не застлало!

— Да что он тут рассказывает! — заволновались казаки.

— Какой праведник! — засмеялся Дрозд.

— Известно, не пойманный — не вор, — ото всего отопрется!

— Не отпираюсь я! — злобно крикнул Безпалов.

В свете месяца он стоял перед ними с высоко поднятой головою.

— Не отпираешься? — подхватил Ворон, — стало быть, ты и есть наш разоритель?

Безпалов тряхнул головой:

— Я.

— Вор! Поджигатель!

— Я.

— Конокрад!

— Я.

Он злым взглядом впился в лицо Ворона.

— Вам сознания моего надо?! Н-ну... я! Ты, Ворон, на кого думал, когда у тебя сено спалили... Ха-ха! Возов с сотню было? Ха-ха!! На Савельку думал? Оставь... я сжег!!

— Пес! — взмахнул руками Ворон.

— А мои волы? — сказал Дрозд, — стало-быть...

— У городских купцов в кишках спрашивай.

И он опять точно бросал им в лицо свой смех.

— Ха-ха! Один к одному волы-то... шесть пар! Поди жалко было! Ха-ха!

Вдруг обдал их вызывающим пламенем взгляда:

— Да что там толковать! У атамана Микулина дом... я сжег! А! Вы и не знали?! Лошадей свел у Караулова... я! У тебя, Морев... я! У объездчика Герасима... Ты тут же, Герасим? Я! У тебя, Бахарев, жеребец в киргизской степи гуляет. Ты тоже на Савельку думал?! Брось! Я! Я двадцать пять... Ха-ха! Самых лучших лошадей из станицы свел. Ха-ха!

Точно вызов смерти бросал он им смех свой, — злой и нервный:

— Ха-ха!

Запрыгали кони от натянутых поводий.

— Лиходей!

Ему грозили сжатые кулаки.

— Вот он... вот! А еще детям нашим своей кровью грозит!

Беспощадное смотрело на него из гневных лиц.

— Пули жалко на него!

— На осину его вздернуть!

— Вор!

Шилов резко крикнул:

— Молчать!

И обратился к Безпалову:

— Стало-быть... и мою пару... Гнедого с Пегим... походных моих...

— Петр Василич, — твердо сказал Безпалов, — пусть бы руки мои отсохли, кабы я притронулся только к твоим лошадям... Для тебя и говорю только, а этим подлецам я бы слова не сказал!

7

И вдруг он крикнул дико и хрипло.

— Будьте прокляты вы! Вот вам мое завещание! Вашим женам, вашим детям... всему вашему поганому

отродью! Перед лицом неба и земли я, Безпалов, проклинаю вас!

И выходка его была так неожиданна, что казаки молчали.

— Подлецы! — закричал он, — чего ж вы ждете?

Остановил горящий взгляд на бледном лице Шилова, смотревшего на него глубоким и темным взглядом.

— Распоряжайся... ты! Ведь ты по совести любишь? Убивай! Ведь ты прав! Ведь общество приказало! А защищаться мне нечем... кроме слов. Да и не хочу я. А впрочем... уж постой! Уж мне всё равно. Я вам правду в бесстыдные глаза брошу... мою предсмертную! Чтобы жила она с вами до конца дней ваших и изжевала души ваши острыми зубами. Я лиходей? Я сирот бездолю? И вы судить меня вздумали? Вас судить надо! Не меня! Вас надо собаками травить, на осинах вешать, из поганых ружей стрелять, а потом по оврагам бросать, как падаль поганую, чтобы свиньи рвали вас и кишки ваши по полям растаскивали!

Вода забурлила под лошадиными ногами в огненных вспышках. И шум голосов побежал по перекатам.

— Петр Василич! Распорядись!

— До каких пор вор оскорблять нас будет.

Но Шилов хмурым взглядом остановил их крики и обернулся к Безпалову.

— Говори, Безпалов.

— Не нравится? — бросил горькую усмешку Безпалов в лица казакам, — не хотите слушать? Ну, бей меня. А я всё кричать буду! Я мешал вам, когда на Илеке жил? У вас лапы цепкие... достали меня! Моя судьба там была... счастье мое! Невеста там была у меня... Лукерья... Ха-ха! Поди знаете такую... атаманшу нонешнюю! Где ваша правда была, когда вы меня в степь на службу угнали? Разве мне было идти? Разве был очередной я?! Ты, Петр Василич, тогда на службе был, в Ахтюбе, не знаешь, как твои общественники мою душу в ведре водки утопили...

— Правда это, старики? — хмуро взглянул Шилов.

Молчали.

— Распоряжение начальства, — прокаркал Ворон. А Дрозд добавил:

— Стало-быть, атаман...

— Атаман! — горько рассмеялся Безпалов. — А где же ваша совесть в то время атаманствовала? Стало-быть, в том совесть казачья, чтобы по приказу атамана бедняка топить, не рассуждая, а потом душу его помянуть сладкой чаркою из рук атаманских? Эй, вы, станичники! Отцы командиры... души продажные! Я из степи нищим чортом вернулся, а всего-то и не знал. На земле моей сидела атаманская родня! Моя хата была за долги продана и на баню атаману досталась. А невеста моя... ха-ха! Атаманшей стала!

8

Из глаз его метнулось гневное пламя.

— Я любил ее... пуще жизни... черти!!

Злобно засмеялся.

— Так вот зачем меня в службу без закону сдать понадобилось! Атаману моя суженая приглянулась. А вы знали про то! Вы знали про то! Кто сватом был от атамана? Морев Степан! Кто дружками были? Ты, Дрозд, ты, Бахарев! А, я вас всех знаю, кто продавал меня, кто приговор об угоне вне очереди на службу писал, — кто постановлял избу мою продать и землю отобрать... Вы за ведро меня продали,.. а потом на свадьбе пировали... песни пели за упокой души моей, когда я с сартами бился... Так подайте ж отчет мне! Я атамана из года в год разорял... я убить его хотел... да Лукерью жалко стало!

И с горьким стоном он махнул рукой.

— Эх... Лукерья!

— Правда это, старики? — нахмурился Шилов.

Молчали.

А Безпалов вдохновлялся собственными горькими словами.

Он точно заглянул в книгу жизни своей, читал там страницу за страницей и страстное негодование свое облекал в пылкие слова.

— Ну, вы... круг казачий! Отвечай мне!

Из подсудимого становился судьей.

— Эй, вы... станичники... отцы командиры! Души продажные! Судить меня вздумали? Разбойники, предатели, воры! Я степь прошагал с окаянными думами. Я на вас злое умышлял в джунглях, на Сыр-Дарье, в камышах... в сражении, в бою всё о вас, братцы мои милые, вспоминал... благодетели мои... проклятые! В Геок Тепе в лазарете, в тифе валялся — всё о вас бредил. Я редуты взорвал... и крест получил... и над тем крестом плакал, что меня не взорвало! Я на сартов в самую сечу ломался, чтобы пуля уложила меня. Да чужие пули берегли, чтобы от своей я буйну голову сложил... от руки моих братцев милых... благодетелей... Чтобы добили вы меня. Ну, что ж... игра сыграна, карты брошены... кончайте!

Он снял картуз, далеко отшвырнул его на светлую воду и тряхнул головой.

— Эй, вы... станичники! Вот я! Добивайте!

9

Месяц, — яркий, круглый, — точно смеялся.

Его улыбка серебрилась в воде, а черный бор, задумчивый и хмурый, — точно слушал смутную сказку реки. Сказка шелестела в камышах, всплывала над степью тысячью шопотов, из омутов поднимала голову с круглыми светлыми глазами. Таинственная, — заставляла коней стоять, как вкопанными, с тенями, опро-

кинутыми в волны, и заглядывала с нежным смехом в побледневшие и смущенные лица.

Шилов крепко нажал удила.

Конь его почти встал на дыбы, роняя с копыт серебряные капли.

— Назад!!

И этот бешеный крик спокойного человека был так властен, что казаки, как зачарованные, повернули коней. Темными пятнами плыли за Шиловым в серебристом пожаре плещущих волн, как сказочное стадо чудовищ таинственной глубины.

В тени крутого берега остановились.

Обернулись.

Среди серебряной глади на темном пятне тарантаса всё еще стоял Безпалов, — застывший, пораженный, всё еще в той же вызывающей позе.

В влажном воздухе всплыл голос Шилова:

— Безпалов... прости!

Как тени сна, взбирались один за другим всадники по крутому берегу, — обрисовывались на смутно-мерцающем фоне неба.

Обертывались.

Как сказочный лозунг бросали слова:

— Безпалов... прости!

Неохотно и вяло пробасил длинный Дрозд:

— Безпалов... прости!

Неуклюжий и черный Ворон точно каркнул:

— Безпалов... прости!

Тонули в сумраке, сливались с ночью.

А река на перекатах всё звенела таинственную сказку...



ДЕТИ

I

Курычанцы застали Пахома на месте преступления.

Они уже давно следили за ним, караулили, но всё напрасно, и злоба их на него росла из года в год. Случилось так, что верный помощник и друг Пахома за что-то распалился на него гневом. Желая вместе с тем прекратить свое опасное занятие и примириться с обществом, что возможно было бы только в том случае, если бы он обезвредил Пахома, он пошел и предал его. Темной ночью мужики по одиночке задворками собрались к указанному месту и молчаливо распределились по закоулкам крестьянского двора, за углами построек, попрятались за сохами, за телегами и, не шевелясь, сидели и стояли, чутко прислушиваясь, с непримиримой злобой в сердцах, с нетерпеливой жаждой расплаты.

Стояла осень, уже пожелтели листья тополей.

Ночь дышала холодом; далеко был слышен каждый звук. Крестьянский двор объят был сном, и фигуры притаившихся людей казались смутными тенями предметов. Вблизи на задворках непрестанно слышался тихий плеск и рокот реки.

Внезапно скрипнула доска забора... и вновь всё стихло. Несколько минут ожидания, — и вот послышались крадущиеся шаги, и показалась высокая, неясная, как тень, фигура человека. Осторожно, но уверенно он подошел к дверям сарая, ощупал замок, повозился с ним, осторожно огляделся и, распахнув дверь, вошел в сарай. Тотчас послышался звук, точно где-то чиркали спичками, кто-то резко свистнул... двор осветился фонарями, и толпа мужиков с молчаливой поспешностью

кинулась в сарай. С ножом в руках, с горящими глазами, бросился человек навстречу толпе, чтобы пробиться... Но уже десятки рук схватили его и крепко сжали.

Тогда он перестал сопротивляться, поняв, что сгиб, — лишь дико озирался своими выпуклыми, наглыми, как бы налитыми кровью глазами на мутно освещенные светом фонарей злые, яростные лица. Руки его были так скручены назад, что вся его высокая фигура согнулась, как бы готовясь к прыжку, и лохматая квадратная борода выставилась вперед. От короткой борьбы рубашка его была исполосована.

Мужики тяжело дышали и впивались взглядом в его лицо, но молчали, как бы не находя слов; только толстый Фрол прошептал со злой радостью:

— Попался.

И за ним вся толпа как бы шумно вздохнула.

— По-па-а-лся...

И тотчас, как было условлено, потушив фонари, в тишине и в жутком молчании повели его за село, и на берег реки. В тисках плотно сжавшей его толпы он вышагивал, согнувшись, в покорном молчании, но страшным напряжением всех сил незаметно пытался ослабить веревки. А перед лицом его, в нетерпеливой злобе и жажде мести, копившейся годами, мелькали колья, палки и руки, крепко сжатые в кулаки... и сдержанный злобный шопот дышал на него, как буря. Но чем дальше оставалось село, тем несдержаннее становился говор, переходя в беспорядочные хриплые крики и нетерпеливые угрозы.

— Злодей, — кричали ему, — душегуб!..

И шли всё быстрее, почти бежали, увлекая его как бы в вихре спешащих, сталкивающихся, возбужденных тел. Маленький Данило забегал вперед, точно плясал впереди толпы и, яростно жестикулируя, выкрикивал в лицо Пахому.

— Волк! Волк! Отольются тебе мои слезки...

И дико смеялся.

— Отольются, волк!..

Сквозь неистовый крик и шум густо ревел, как вол, неуклюжий, массивный и хромой Зот, перед самым лицом Пахома свирепо разевая лохматый рот, сам весь лохматый и как бы ныряющий перед Пахомом на своей хромой ноге.

— Г-га-а... Моего Гнедого вспомнишь? Суседскую кобылу забыл? Всё знаем!.. Ивана Парамоныча забыл? Петровых забыл? Кирсанова?.. Все здесь!..

Эхом отзывался стоустый крик.

— Все здесь! Все!..

И в мерцаньи звезд мелькали перед Пахомом искаженные злобой лица обездоленных им людей. Один за другим выбивались они из толпы перед лицом Пахома и, задыхаясь, кричали:

— Узнаешь?

И исчезали.

А на место них, точно в диком танце, выбегали другие.

— А меня узнаешь... узнаешь?

И уже начинали учащаться удары по вздрагивающему телу Пахома, тупые, тяжелые удары, от звука которых еще сильнее разросталась нетерпеливая ярость. Но рокового, последнего слова еще никто не произносил, хотя оно жило в сердцах. И только когда показался светлый плес реки, — на крутом берегу, над обрывом, толстый Фрол прокричал:

— В круг!

И в середину круга на землю он с силой бросил Пахома.

— Бей!

Пахом попытался подняться.

Но тупые, шумные удары палок вновь свалили его с ног... и, извиваясь от жгучей боли, в смертной тоске, уже с переломленной рукой и лицом, залитым кровью, он первый раз заговорил и стал кричать:

— Братцы, братцы... Ужели без суда?..

Жутко проносился его крик над рекой.

— Без суда... братцы!

С злым, сосредоточенным молчанием продолжали избивать его разъяренные люди; только толстый Фрол глухо сказал:

— Тебя давно осудили... али ты не знал?

— Ужели семью... семью обездолите... братцы!

— А ты наши семьи не обездоливал?

Круг мужиков всё сжимался, истерзанное тело извивалось у самых их ног, как темнокровавое пятно, глаза их мутились, груди хрипло дышали... Тогда в последнем томленьи, теряя сознание, Пахом поднялся на колени и крикнул:

— Убийцы!.. прокляты будьте!.. Не дали молитвы... Сами без покаяния умрете.

Неожиданной и страшной угрозой отозвался его крик в сердцах мужиков, руки как будто застыли с поднятыми палками.

И тотчас толстый Фрол отозвался:

— А ведь верно. Забыли... что же это мы? Душу губим нераскаянную. Грех-то её на нас будет.

Мужики с какой-то вялой неохотой расступились, точно сонные.

— Пусть покается, — визгливо крикнул Данило, — пусть скорей... скорей!

— Молись... Пахом, — сказал Фрол.

И мужики, как сонные, шумно повторили:

— Молись... скорей молись.

Вновь обступали его.

— Молись, лиходей... скорей.

Пахом поднял трясущуюся голову и окровавленное лицо его обратилось к звездам. Мужики невольно отступили... Но в них не было жалости, а росло нетерпеливое желание скорее покончить всё, и они кричали:

— Скорей молись... скорей.

Но когда Пахом полушопотом стал бормотать ка-

кие-то бессвязные слова, один за другим они сняли шапки.

— Развяжите руки, — глухо сказал Пахом.

— Зачем?

— Перекреститься...

Никто не двинулся.

— Нет, — прогудел Зот, — молись... не трать время.

Пахом больше не просил.

Опять он стал посылать звездам свои бессвязные слова, среди жуткого, упорного молчания окружающих, а сам сделал последнюю незаметную попытку развязать руки, но ременные возжи были крепки и только врезывались в тело.

Украдкой он бросил взгляд в сторону реки.

Но слишком тесна была толпа мужиков... видны были только звезды. Тогда мутящимся вглядом обвел он лица своих врагов... и вдруг крикнул неистовым голосом:

— Простите меня... братцы!

— Бог простит, — глухо отозвалась толпа.

— Развяжите руки... перекреститься. Ведь погибаю...

Все молчали, взглянули на Фрола.

И как бы чувствуя одобрение в этих взглядах, Фрол нагнулся и распустил возжи. Пахом с облегчением вздохнул, опять взглянул на звезды и широко перекрестился.

За ним перекрестилась вся толпа.

Пахом медленно перекрестился еще раз, и вдруг протянул руки к толпе.

— Братцы! простите меня... совсем. Пожалейте!

Но просьба его потонула во взрыве криков.

На время сдержанная ярость пробудилась в толпе с новой силой.

— Нет, тебе, злодей, прощенья... нет!

Снова мутное вино гнева и долго копившейся злобы

ударило в головы... толпа кинулась к нему. Но в этот момент Пахом последним напряжением сил вскочил на ноги, с криком боли бросился на толпу, прорвал ее и с кручи кинулся в реку.

II

Река огласилась неистовым гомоном.

Под звездным небом метались по темному берегу кричащие тени, ругались, спорили, укоряли друг друга. Данило налетел на Фрола.

— Зачем развязал руки?

Зот ревел, как рассвирепевший бык.

— Пымать его... живым пымать! Лодку!

Десятки голосов подхватили:

— Ло-о-дку...

С беспорядочным говором, перекликаясь, люди сбегали по круче вниз, раздевались и бросались в воду. Но еще раньше их Зот, сбросив сапоги, прямо с крутого берега шумно бултыхнулся в реку и словно кит забурлил по ее глади, подбодряя себя криками.

— Живым лови... живым!

Он оказался впереди всех.

Руки его работали, как тяжелые весла, разбрасывая брызги. Голова его темнела на светлой глади, словно плывущая копна, фыркала и орала.

— За мной... я вижу его, ребята! За мной...

Там и сям за ним тянулись темные точки, — головы плывущих преследователей. От берега, в разных местах, отплыло несколько лодок с кричащими в них людьми. В одной из них стоял Данило и визгливо кричал:

— Правей, правей... я вижу его!

Он смешно жестикулировал и торопил гребца...

Пахом выбился из сил.

Он успел отплыть далеко, но правая перешибленная рука его не действовала, приходилось работать одной левой, разбитое тело его тянулось в глубину... уже едва хватало сил только держаться на поверхности. На средине реки он отдался течению и плыл, смотря вверх на звезды, с туманом в голове, с мутным сознанием, что его песенка спета. Он чувствовал приближение погони, но уже ему было всё равно... лучше утонуть, чем снова попасть им в руки.

Уже два раза втянула его холодная глубина.

Он еще боролся, страшным усилием выплывал снова на поверхность, взглядывал на звезды...

Но сознание меркло.

Холодный, утишающий боль туман охватил его, потушил сознание и повлек в глубину.

Данило первый визгливо закричал:

— Тонет!.. Зо-о-т... правей...

Охающим эхом отозвалось по реке и на берегу:

— То-о-нет...

— Ныряй кто-нибудь...

— Э-э-й-й... лево...

— Утонул человек-то...

— Че-ерти...

— Туда ему и...

— Брось...

— Да как же так...

— Лево...

— Ныряй кто-нибудь...

— Да пес с ним... ведь всё равно...

— Ишь ты...

— Человека бросить...

— Правей... тут, тут...

На средине реки виднелась темная группа лодок и ныряющих вокруг них людей. К стоящим на берегу донесся оттуда крик:

— Нашли... е-есть!

Вскоре лодки причалили, и люди, с сдержанным говором, внесли на крутой берег недвижное тело Пахома. Темный, вспухший от побоев, он беспомощно лежал опять на том же месте; вода стекала с лохмотьев его одежды.

Мужики молча толпились вокруг.

— Что же делать теперь с ним? — сказал Фрол с недоумением.

Толпа сдержанно гудела.

— Да жив-ли?

— Мотри, захлебнулся...

Вперед выскочил Данило.

— Чего смотрите-то... откачивать надо, — заорал он визгливо, — давай кто-нибудь кафтан.

— Зот, давай кафтан.

— Да я его тут на берег бросил...

— Ребята, ищи зотов кафтан.

— Здесь он...

Кафтан разостлали и положили на него Пахома. Дюжие руки взялись за края кафтана, и Пахом тяжело и беспомощно стал по нему сновать и перекатываться. Вода вскоре хлынула из него ручьем... он простонал и пошевелился.

— Жив, — тихо прошло по толпе.

Его положили, тепло прикрыли и вновь стояли над ними, ожидая, когда он очнется. И уже думали, что же будет дальше, и избегали смотреть друг на друга. Среди общего ждущего молчания вдруг раздался голос Зота:

— Как же так... хотели человека погубить, а на место того... спасли?

Все сдержанно рассмеялись.

— Да ведь ты же за ним нырял, — сказал Фрол.

— Я-то, я... это верно. Да ведь я только пымать хотел.

— Ну вот и пымал.

И опять все засмеялись.

Но Зот обозлился.

Он шагнул вперед, растолкав локтями мужиков, и, как гигантский и нелепый монумент встал над Пахомом, лохматый и мокрый, и зло заорал:

— Да што вы, дьяволы... Бога в вас нет. Што с человеком сделали... Чать, поди... Не дам я его вам больше!

В этот момент Пахом очнулся, привстал и с ужасом оглядел толпу. И тотчас опять упал на спину и заплакал.

— Братцы... родненькие, — говорил он сквозь бессильные слезы, — не мучьте... лучше в воду бросьте... утопите... не могу я... не мучьте..:

Бородатые лица над ним склонились.

— Пахомыч... нешто мы зверье...

— Ведь сам же ты...

— А ты прости...

— Чать, люди...

— Чать, мы тоже... Гос-с-поди...

Данило чуть не плакал.

— Пахомыч, Пахомыч, — взвизгивал он, — пес с моей кобылой... чать, душа-то дороже... Брось ты это занятие... А мы те простим.

— Простим, — шумно заговорили вокруг, — брось только... Христом-Богом брось!..

— Дай обещание, — прогудел Зот.

Но Пахом молчал.

Зот нагнулся над ним, — он был в беспамятстве.

— Человек-то разнедужился, — поднялся Зот, — эк мы его...

— В село его надо...

— Неси человека в село, ребята!

— На кафтан его...

— Клади, ребята, на кафтан!..

Пахома положили.

Зот взялся за кафтан, как за носилки, Фрол ухватил его с другого конца, а Данило суетливо бегал вокруг и визгливо покрикивал на мужиков:

— Берись, ребята, берись... осторожней!

Берега реки погрузились в тихий сон, река точно шепталась с камышами... и, казалось, всё ярче разгорались звезды.

Мужики медленно брели в село со своей ношей.



В ГОСТЯХ

I

Дьякон градо-покровской церкви, Серафимов, получил письмо от сына из деревни. Сын недавно кончил семинарию и первый год священствовал в богатом селе Медведском. До сих пор дьякон получал от сына радостные письма. Сын рассказывал, какой прекрасный приход Медведское, подробно описывал поповский дом, службы при нем, плодовый сад, разведенный еще прежними священниками, — всё это с такими подробностями, что дьякону казалось, будто он сам вышагивает длинными и больными ногами вслед за сыном по просторным комнатам с крашеными полами и светлыми окнами, за которыми видна на площади красивая синяя церковь с куполами; сам осматривает обширные сараи, где можно поместить табун лошадей и добрый десяток тарантасов; любуется яблонями и грушами, бросающими такую плохладную и пахучую тень, что хочется под ними лечь на зеленую мураву.

А речка на задах, за огородами!

Дьякону так и чудилась ее тихая гладь, отражающая зелень берегов и темную чащу леса. Если бы не больные ноги, если бы не двести верст, непременно бы дьякон выпросил отпуск у строгого о. Георгия и поехал к сыну ради одной речки, в тихих омутах которой ему мерещились стада окуней, неповоротливые сомы, вьющиеся, как змеи, налимы... Он всегда мечтал о таком земном рае, тихом уголке, каком-нибудь бедном деревенском приходе, где было бы поменьше дела, чтобы целыми днями пропадать на реке или возиться на пчельнике с ульями, прикрывшись сеткой. — «Покойница,

царство небесное, не хотела, городская была; тянуться за городским духовенством приходилось». Теперь, на старости лет, он радостно думал: как только сын устроится, выйти за штат и переселиться к нему на покой.

— Много ли мне надо... в тягость не буду.

И вдруг письма стали отрывисты и редки, а последнее письмо взволновало и обеспокоило его.

«Дорогой папаша. К престольному дню непременно приезжай. Нужно. А перед отъездом зайди к секретарю Павлу Ивановичу и узнай, нет ли вблизи от города хорошего прихода. Отсюда по всей вероятности, придется уходить. Подробности расскажу по приезде».

Мечта дьякона сбылась.

Он ходил по просторным комнатам, в распахнутые окна вдыхал запах цветов, любовался голубою церковью и с бьющимся сердцем наблюдал, сквозь деревья, как солнце искрилось в светлой глади реки. Но душа его была полна тревожного недоуменья. Сын встретил его как-то... так, между прочим... без особой радости.

— А-а, папаша...

Точно и не лежало между ними почти года разлуки.

Дьякон не узнавал сына в этом маленьком, крикливом, суетливом священнике. А матушка Лиза, казалась ему, уж слишком много и с каким-то испугом на лице занимается хозяйством.

— Такие молоденькие, — думал дьякон, одиноко вышагивая по комнатам, — им бы радоваться. А они...

Он задумчиво крутил головой.

— Мечутся, никому же гонящу!

Сын в это время на кого-то кричал во дворе странным, звенящим голосом, какого раньше дьякон и не слыхал у него.

— Я вам покажу, как за хозяйским добром смотреть. Прежние-то попы избаловали вас. Ну, да я...

А матушка, как тень, сновала по комнатам, с заботой на лице.

— Всё тащут, — взглядывала она на дьякона, — ничего зря положить нельзя.

Вечером, за чаем, дьякона даже что-то нехорошо укололо в сердце, когда сын, явившись с гумна, весь в пыли и возбужденный, стал кричать на всю комнату тем же звенящим, незнакомым дьякону голосом:

— Вор на воре... вот здешний народ!

Он был, как прежде, такой же маленький и болезненный. Трепаная черная бородка и усы только оттеняли его бледность. Но еще недавно миловидные черты его лица до неузнаваемости исказила какая-то непрестанная, истерическая злобность.

Дьякон хмуро глядел на него.

— Я тебя не узнаю, Валентин. Смотрю... здесь полная чаша. И вокруг Божия радость. Чего тебе мало?

— Как, чего? — закричали в один голос о. Валентин и матушка Лиза.

О. Валентин даже со стула вскочил.

— Полная чаша! Божия радость!

Он задохнулся и взмахнул руками.

— Да здесь гнездо! Вертеп разбойников! Я хочу подавать владыке рапорт о закрытии здесь церкви.

Дьякон сделал строгое лицо.

— Валентин! Твои речи удивляют меня. И неприятно... Я уже старик. Пятьдесят лет исполнится скоро, как служу церкви. Привык смотреть на прихожан, как на детей своих... и жить с ними в любви и мире.

— То ты!

— А ты не от меня разве?

— Попробовал бы ты на моем месте пожить! Каждый смотрит, как враг. Каждый только и думает, как бы попу неприятность причинить или пакость устроить. Да вот, спроси ее, вот...

Он указывал пальцем на матушку.

— Она тебе больше моего расскажет.

И они в два голоса, перебивая друг друга, стали изливать дьякону все свои обиды. Руги не платят. Еще и прежнему священнику не платили. Да это не беда... всегда судом истребовать можно. Вот о. Симеон из Крутояра за шесть лет так-то получил... по губернаторскому распоряжению. Но главное зло вот в чем: приговор постановили — сколько за требы платить. Хотят труд священника по своему, по мужицкому, оценивать. За младенца, например...

— Пятачек, — звонко кричал о. Валентин: — пятачек... а! За крестины! Как тебе это понравится? А похороны... бедные даром, а богатые... по желанию!

— Полтинника не дают, — жаловалась матушка.

— Да-а. Они все тут бедняков разыгрывают. Ты не смотри, что у них крыши раскрыты, — это от лени...

— И от водки. Уж какие Валя проповеди говорит... хоть бы что!

— Или чтобы начальству податей не платить. Вроде визитной карточки... Вот, дескать, я, — такой-то... нищ! Проходи, поп или становой, мимо.

— И идем мимо, — плакалась матушка. — Вы только представьте, папаша, сколько я шерсти собрала последний раз.

И так как дьякон молчал, она допытывалась:

— Нет, вы представьте только...

На лице ее изобразился ужас.

— Полто-о-ра пуда!

Дьякону становилось тоскливо.

Он взглянул за окно.

Улица залита красноватым светом, словно где поблизости пожар. Но дьякон знал: это горит заря и отражается в реке.

— Хорошо бы теперь... на налима пойти, — подумал он со вздохом.

И вдруг взглянул на сына..

— Зачем же ты меня-то сюда звал? Тут твое дело... как мне его разобрать!

Он поднялся и пошел из комнаты.

— Вы куда же, папаша, — удивленно вскричал о. Валентин: — да, ведь, я самого-то главного еще и не сказал.

Но дьякон отмахнулся.

— Пойду к реке... поброжу. А то мне... скучно.

С реки дьякон пришел веселый и точно принес с собой ее бодрящую свежесть.

— Какое велелепие, — говорил он.

И крутил головой.

— Какая благость!

Но сын ждал его уже с бумагой в руке.

Бумага была свернута, как прошение. Дьякон взглянул, и веселость его сразу пропала.

— Это, — спросил он, — что же такое?

И сел к столу, ожидая.

О. Валентин торжественно уселся за столом против него, а матушка поместилась на сундуке с вязаньем.

— Послание какое-то, — еще сказал дьякон.

И слегка улыбнулся.

— К римлянам или к галатам? Или, может быть... к Понтийскому?

— Папаша, — торжественно начал о. Валентин.

Он покосился на попадью, как бы ожидая ее одобрения, и продолжал:

— Ведь, вы меня знаете. Я человек вспыльчивый и крутой...

— До сих пор не знал этого, — сказал дьякон. И опять усмехнулся.

— Ты у меня... как из утиного яйца, что под курицу положили: всё был цыпленок, а вдруг поплыл.

Тут о. Валентин встал, резко отодвинул стул и внезапно пришел в гнев. Он ходил по комнате, махал бумагой и говорил звенящим голосом, от которого дья-

кону всё казалось, что в комнате говорит кто-то чужой и незнакомый. А о. Валентин говорил, что всё, что он рассказывал о приходе, только цветочки, а ягодки еще впереди.

— Вот, — сказал он.

И положил на стол бумагу.

— Ну, а что же это? — скосился дьякон.

— Дело. Копия с прошения... писарь мне вручил.

— Де-е-ло?

— Да, да.

— О тебе?

— Да, обо мне. Но, собственно... о барашке!

— Какой это еще барашек? — холодно удивился дьякон.

— Барашек? Да самый обыкновенный барашек... какие бывают барашки. Барашек.. так, захудалый. И на барашка-то непохож! Так что-то... на четырех ножках... смотреть не на что. Если бы еще целый баран, я понимаю. Баран... вещь ценная! В некотором роде капитал. А тут.. ни шерсти, ни мяса, ни вида. Барашек! Да если бы покупать, я за него и гроша бы медного не дал. К тому же, он и околел через три дня.

— Околел? — поднял дьякон брови, ничего не понимая.

Матушка подтвердила.

— Барашек был больной.

— Да он не больной, а от рожденья дохлый был, — взволнованно кричал о. Валентин: — это был просто подвох, а не барашек!

— Одна кляуза, — подтвердила матушка.

И опять наперебой они стали рассказывать дьякону историю барашка. — «Барашек, барашек, барашек» — пестрело в их рассказе. — И барашек входил в какую-то странную связь с человеком об одном глазе, вредном и подлом человеке, лишенном даже намека на добродетель. Напротив, пороки этого человека были так велики, что перечисление их заняло очень много

времени, взволновало о. Валентина до багрового румянца, а матушку заставило всплакнуть и сквозь слезы удивиться, как этого человека до сих пор земля носит. Он был пьяница, вор, прелюбодей, святотатец. Ему даже ставилось на вид, что он об одном глазе.

— Бог шельму метит!

И в заключение... барашек.

Неужели причт виноват, что в метриках этот неисправимый грешник записан Антоном, а зовут его Фокой? Пришлось следствие наводить, иначе венчать нельзя было. Ну, хорошо... за венчанье взяли, что положено. А следствие? Разве священник обязан даром производить следствие? Разве можно считать вымогательством какого-то там барашка?

— Барашек! — кричал о. Валентин. — Да какой же это барашек! Насмешка, а не барашек! Да он же и околел. А из-за него скандал на всю епархию... Хоть бы шкура осталась, я бы себе из нее шапку сделал, а то так... падаль. Бара-а-шек!

— Десять рублей отступного просит, — плакалась матушка.

— Мне амбиция дороже, — взмахнул руками о. Валентин: — я на него встречный иск подам, за оскорбление святыни... он икону изрубил. Иконоборец! Это ему будет не барашек..

И опять в ушах у дьякона запестрело:

— ...Барашек... барашек... барашек..

Этот барашек окрашивался в какой-то мистический цвет. В груди у дьякона росла глухая тоска. Всё дальше отходил от него сын, — маленький, болезненный и кроткий мальчик. А вместо него неведомый человек метался перед ним, и вопил, и произносил ненужные слова.

В окно смотрела ночь.

В ее тишине, полной нежной прохлады, неясно рокотала и будто звенела река. Дьякон давно отвернулся от сына и смотрел в раскрытое окно с убито-хмурым

лицом. Ему вспоминалась его мечта о тихой жизни над рекою, о пчельнике, об утренних и вечерних зорях... И мало-по-малу мысли дьякона уходили в ночь, к реке, зажигали костер на берегу ее, тихо булькали у берега, устраивая заводь. Засеребрились и поплыли в нем равнодушные красноперки... золотистый карась, бойкий окунь, солидный и глупый лещь.

Всё еще назойливо лезло ему в уши:

...Барашек... барашек...

Но это уж было когда-то давно и где-то далеко, и он не слушал, и плыл в челноке среди камышей, вспугивая сонных уток.

— Ну, что же вы думаете, папаша, об этой истории? — остановился перед ним о. Валентин.

Дьякон очнулся.

— Какой истории?

— С барашком.

— Что я думаю?

Он холодно смотрел на сына.

— Всяк человек... ложь!

II

Однако, дьякон решил помочь сыну. Он видел, что при таком характере тому не удастся покончить дело миром, а скандал выйдет большой. Кстати, вскоре наступил Ильин день, престольный праздник. С утра церковь гудела и вздрагивала от колокольного звона, и дьякон не отказал себе в удовольствии забраться на колокольню, где, засучив рукава, долго поражал всех таким искусным трезвоном, что мужики выходили из церкви, собирались толпами у ограды и смотрели вверх. Но дьякон и не подозревал, что становится популярным человеком. Забыв про боль в пояснице, про свои больные ноги, он метался под колоколами, как дух звона, с веселым и добрым лицом, весь отдаваясь наслаждению

извлекать глухой, ухающий гул из медного тела большого колокола. А маленькие колокола у него радостно вскрикивали, звонко лепетали и точно смеялись невинным детским смехом. Они казались дьякону херувимами, поющими славу, тогда как большой колокол напоминал архангела, трубящего в медную трубу.

Наконец, прибежал служка и крикнул дьякону:

— Батюшка сердится!

В церкви все почтительно смотрели на искусного звонаря и уступали ему дорогу. Когда же он облачился в малиновый стихарь и перед царскими вратами сам возгласил, как большой колокол:

— Бла-а-госло-ви, влады-ыко! —

Он окончательно завоевал все симпатии.

В жаркий полдень подняли иконы и с развевающимися хоругвями двинулись по приходу.

Было душно, знойно; только с реки веяло прохладой. Улицы пестрели праздничными нарядами, слепившими яркостью красок. Село отдыхало, смеялось солнцу. И, как веселая музыка, не переставал трезвон. Посетили сначала людей именитых: рыжего старосту, напоминавшего таракана; кудластого, тяжелого лавочника, скромного писаря, с вечно опущенными глазами, с которым даже батюшка ласково разговорился:

— Ну, писарек, как ваши дела?

— Благодарение Господу Богу, батюшка; живем вашими молитвами.

И писарь постучал себя по груди тонкими пальцами и увел их в карман.

Батюшка ждал.

Но из кармана ничего не появилось.

Тем не менее, уходя, батюшка шепнул отцу:

— Деловой человек... нужный.

У черного, хмурого жандарма отдыхали, пили чай и разговаривали. Жандарм повествовал очень пространно о своих начальниках, а потом перешел к беспоряд-

кам в городах и объяснял их причины. Он всем надоел, но его слушали из вежливости.

— Знать хотят... а знать нельзя, — бурчал жандарм: — оттого и бунты.

Дьякон прямо поставил вопрос:

— Что выше, — природа или наука?

— Природа, — сказал жандарм: — оно вот хоть генералов взять. Один с рабочим — рабочий, с крестьянином — крестьянин. А другой... только ловит, только ремизит. А наука одна!

Дьякон горячо согласился.

— Рыбари галилейские неучены были, а весь свет покорили, ибо природа их Господом Иисусом освящена.

От жандарма шли по порядку.

Заходили в сырое, душное нутро глиняных хат, к больным, слезящимся, очень бедным людям, где в ожидании медной монеты, старались быстрее «отмахать» молебен. Здесь, читая акафист, батюшка как будто ругался и спорил со святым, хотя и говорил ему:

— Р-радуйся!

Служили на просторных и пустых дворах, где сочно пахло полынью. Кропили наскоро святою водой хаты, вросшие в землю. И радовались деревянным избам «богатеньких», потому что там чувствовалось присутствие серебряных монет и ожидало угощение. Тут акафист превращался в славословие, а голос батюшки принимал ласковые оттенки.

Он не читал, но пел:

— Ра-а-а-дуйся, радуйся...

А в окна доносился неперестающий трезвон и веселый шумный говорок отдыхающего по заваленкам народа.

Дьякон шел среди певчих, те перед ним заискивали. К дьякону то и дело подходили мужики и говорили какие-то ласковые слова насчет трезвона и служения его, хвалили голос. И, косясь на местного дьякона, шарообразного, безголосого старика, потихоньку шептали:

— Вот тебе бы к нам... на руках бы носили. Да и сын-то при тебе бы...

— Что?

— Да ничего, стало-быть.... так. А всё-таки...

Наконец, пришли к человеку с одним глазом.

Дьякон посмотрел и шепнул певчему:

— Фока?

— Он самый.

Дьякон слегка приподнял брови.

Он ожидал увидеть мужика лохматого, крупного, с черной бородищей и грубым голосом, а перед ним робко нырял по комнате беленький человечек, похожий на голодную мышь. Странно как-то было дьякону представить этого человека злодеем и преступником. Нос у человека был вроде пальца, единственный глазок смотрел весело и кротко.

Он ласковым и тонким голоском сказал:

— И Варваре акафист.

Тут же откуда-то вынырнула и Варвара, — такая же маленькая, востренькая, быстрая и веселая. И хата у них была словно игрушечная: веселенькая, маленькая, хотя без крыши, но чисто выбеленная снаружи и изнутри. Ее крошки-окошечки будто подмигивали и смеялись. А пустоту двора в обилии скрашивали подсолнухи.

Батюшка вошел в хату мрачнее тучи.

Риза на нем сидела как-то боком. Акафист Илии он читал так, словно делал святому выговор, а великомученица Варвара едва ли могла разобрать хоть одно слово, потому что вместо «радуйся»... выходило только:

— Ра... ра... ра...

В этих звуках было что-то раздражающее, наполнявшее комнату тревогой. Казалось, вот-вот батюшка бросит акафистник и обрушится на хозяина тем же самым тоном и даже с теми же словами.

Вдруг с лавки поднялась над столом куриная голо-

ва. Она посмотрела на батюшку строгим агатовым глазом. И, словно подражая ему, заговорила:

— Кру, кру... кру...

Из-под стола отозвались цыплята.

Курица вскочила на стол, продолжая звать их. Она была ярко-рыжая и, что самое удивительное, совершенно без хвоста. И ее строго-удивленный вид, при отсутствии хвоста, был так комичен, что певчие нагнулись, скрывая смех, и даже дьякон не мог удержаться от улыбки.

Батюшка с шумом бросил на стол акафистник.

— Это святотатство! — закричал он.

Курица не ожидала этого.

Она отчаянно закричала, подпрыгнула, хлопая крыльями, ударилась в оконное стекло. Фока пытался поймать ее, но она металась по лавке, роняла предметы, усиливая переполох. И переход от ее строго-удивленного вида к этому отчаянному перепугу был опять так комичен, что дьякон с трудом сдерживал смех.

А о. Валентин кричал, с лицом, искаженным злобой:

— Будьте свидетелями. Это нарочно! Это насмешка над божественным обрядом!

— Ну, что ты... оставь! — покраснел дьякон.

Фока схватил курицу.

Но она вырвалась и тяжело полетела над толпой. Дьякон на лету поймал ее и потихоньку выпустил в сени, куда на крик ее стали где-то по полу пробираться и цыплята.

— Вот и всё, — сказал дьякон, красный и смущенный. — Птичка Божия, — обернулся он к сыну, — и к тому же мать... какое тут кощунство.

Фока, сжавши губы, не говорил ни слова.

Батюшка крикливо и вызывающе докончил молебен, а потом круто повернулся и пошел сквозь толпу, оставив на столе крест.

— Папаша, захватите крест, когда приложатся.

Дьякон уныло покачал головой.

Он остановил причетника и, завернув крест, отдал ему.

— Я... отдохну. Не пойду больше с вами.

Дьякон сидел на лавке, а Фока неподвижно стоял у стола и будто ждал, когда же дьякон уйдет. Дьякон молчал и смотрел в окно. Ниоткуда не было так хорошо видно реку, как из этого окна. Тут она вся была, как на ладони, со своими змеистыми поворотами, с веселой зеленью лугов и синеватыми пятнами перелесков, со своими широкими плесами, которые нежно золотило солнце.

— Места у вас благодатные, — сказал дьякон, не смотря на Фоку.

Фока молчал.

— В таких местах, — продолжал дьякон, — у людей душа должна бы быть светлая... голубая... зеленая. И блестеть, как звезда в полночь. А диавол, враг искони... мутит ее.

Фока продолжал молчать.

Дьякон потихоньку и смущенно взглянул на него и встретил пытливо-веселый взгляд его единственного глаза.

— Вас как зовут?

— Фо-ка! — тонким голоском точно пропел Фока.

— А по батюшке?

— Левонтьич.

— Вот, Фока Левонтьич... живет на реке рыбка Божия... И не знает, что Господь ее создал для неведомой цели... на потребу человеков. Ей бы гулять по камышкам, под лопухами играть, да в ямках в тине на бочку лежать и нежиться. А она промежду себя грызется. Ну, рыбка — тварь глупая и разумом не одаренная. А вот... когда видишь то же у людей, так и хочется

крикнуть им: — и чего вы между собой делите, люди Божии!

Дьякон отвел глаза к окну.

— Вы как об этом думаете, Фока Леонтьевич?

— По Божьему! — пропищал Фока.

И чему-то весело засмеялся.

Дьякон пошарил в кармане, достал оттуда еще с утра приготовленный золотой и, не глядя на Фоку, положил его на стол. Фока покосился на золотой и осторожно взял его двумя пальцами.

— Хорошая монета, — сказал он, иронически усмехаясь.

— Не столь хорошая, Фока Леонтьич, сколь полезная.

— И у вас много таких?

Дьякон чуть-чуть усмехнулся, всё не смотря на Фоку.

— Было бы много... да карман дырявый.

— А это вы что же... на стол ее положили... Потерять боитесь?

— Лучше весь мир потерять, чем видеть души, погибающие в сваре.

— Та-а-ак, — сказал Фока.

И задумался.

— Я слышал, что вы из города? — спросил он вдруг уже серьезно.

— Из города.

— Сродственник будете нашему-то батюшке?

— Отец.

— Так вот, скажите вы мне. Монета эта у вас... городская или деревенская?

Дьякон обернулся и посмотрел на Фоку.

— Городская, Фока Леонтьич.

— Не от сына?

— От себя, Фока Леонтьич.

Они некоторое время смотрели в глаза друг другу.

— Нате, — протянул Фока монету.

Дьякон нерешительно взял ее.

И нахмурился.

— Почему же?

— А у меня тоже карман дырявый. Да к тому же — от золота совесть ржавеет.

— А как же... — начал было дьякон.

И смолк.

— С барашком-то? — сказал Фока.

Он весело рассмеялся.

— Да Бог с ним.

Дьякон расцвел.

Он встал, протянул руку Фоке и крепко сжал ее. Хотел что-то сказать, но только улыбался. И Фока посмееивался ему в ответ. Тут взгляд дьякона скользнул по стене и вдруг дьякон положил себе на грудь руку и умиленно вскричал:

— Что я вижу... перетяги!

— Да, о. дьякон. А вы разве любитель?

— Я-то? Господи! С малых лет рыбарь галилейский.

— А у меня и лодка есть.

— Да ну?

— Мережи есть. И всякая снасть.

— Друг! — вскричал дьякон. — А что, если бы...

Он подмигнул.

— Завтра... на зорьке...

— На леща?

— А водится?

— В заслонку величиной.

— Друг... едем!

И они уселись за стол, как добрые приятели. И в их разговорах потекла, звеня и смеясь, прохладная и веселая река, а в глубине ее засверкали золотистые чешуйки карасей, лещей и окуней. Вскоре на столе запел самовар. Дьякон рассказывал о своей мечте жить над светлой рекой; а Фока описывал ему подробно и обстоятельно разные таинственные речные места, глуби

и омуты, где всегда можно найти налима, речные песчаные отмели, где кишмя кишит жиблый подуз. А в окна доносился несмолкающий трезвон и звуки разгоравшегося веселья.

Уходя, дьякон спросил с улыбкой:

— Так, значит... как же... с барашком-то?

Фока весело отмахнулся.

— Да Бог с ним!

III

В селе разгоралось веселье.

По случаю взятия Илии живым на небо в огненной колеснице, всякий православный человек считал своей обязанностью быть шумным, пьяным, ходить в обнимку с приятелями, громогласно упоминать их мать и родственников, а под конец — буйно воевать с ними из-за принципиальных разногласий. Когда спустились сумерки, село шаталось, пело, ругалось, играло на гармониках, ухало где-то в темноте переулков в приступе разгула, звенело женскими криками, бурно бушевало или басовито пело не совсем относящееся к предмету праздника:

Милашка моя,
Разува-а-а-жь-ка меня.

Окна хат сияли, как в иллюминации.

Дом батюшки тоже ликовал.

Туда съехались гости.

Приехал заозерский священник о. Кирик с матушкой. Трудно было сказать, кто больше весит: о. Кирик или его матушка. И с лица они были схожи: в комнату входило точно две луны, только одна — с бородой, а другая — совсем круглая. Оба были веселые и говорили басом. Только о. Кирик говорил больше о младенцах и покойниках и о их бездоходности, а матушка — о ку-

рах, свиньях и коровах в связи с близким светопреставлением. Приехал о. Кронид, — человек одинокий, черный, угрюмый, молчаливый, оживлявшийся только при слове:

— Пожалуйте к столу!

У стола он постепенно делался веселым, крикливым, шумным и заменял целую толпу.

Прибыл также из-за реки о. Венедикт, похожий на мощи. У него большая борода и круглые глаза, ничего не выражающие. Говорил он тихо, солидно и всё больше от писания, как бы сомневаясь в каждом своем шаге и стремясь оправдать его.

— Величит душа моя Господа, даже и выпивая, — говорил он. — Ибо, что ни делаем, во славу Божию делаем.

А вокруг него стоял гомон и крик дьяконов из соседних приходов и причетников, не всё понимавших и смеявшихся невпопад, из угождения.

— Тогда я две, — кричал кто-то, — во славу Божию!

А о. Кронид уже заменял целую толпу:

— Дьякона! Сюда, сюда! Се трубит архангел: Илия... взят на небо. Колесница его... гром, гром! Вот оно откуда!

Он дико хохотал.

— А перед громом-то... кто со мной?

— Я, я, — отзывались дьякона.

И причетники кричали:

— Я, я!

О. Кронид изгибался в смехе.

— А после грома... я с вами. Ха, ха, ха! Отцы! Братие! Сродницы! Собутыльницы!

Он пел:

— При-и-и-дите... вы-ы-пьем!

От стола он уже не отходил.

И даже, оставаясь там один, кричал и пел так, что, казалось, у стола кричит и поет несколько человек.

О. Валентин сбился с ног, угощая.

— Пожалуйте, пожалуйте, — суетился он.

И вдруг вспомнил:

— А где же папаша, Лиза? Что же он не поздравит с праздником-то?

Матушка, пунцовая и веселая, пожала плечами.

Дьякона не было.

Он некоторое время беседовал с о. Кириком о покойниках, вежливо выслушал подробное сообщение о. Кирика о том, какой покойник в каком приходе сколько стоит, и как ничего не стоят покойники в Заозерье. Потом покорно отдался во власть матушки о. Кирика, посвятившей его в тайну отношения курицы к светопреставлению.

— Петухом! — волновалась матушка. — Виданное ли дело? Но сама слышала. Повернулась курица лицом к востоку... и запела! А, ведь, с востока и должно начаться. Видите, все признаки. И еще вот... корова...

Дьякону было скучно, его манила улица.

Но ему еще пришлось выслушать о. Венедикта, который сказал, остановив на дьяконе круглые и ничего не выражающие глаза:

— Пришел человек некий и посеял плевелы.

Он слегка потрогал дьякона за грудь.

— Как это понять?

— Диавол... — начал было дьякон.

Но о. Венедикт перебил его:

— Не сам лично. Через слуг своих. Посему, когда доношу на оных... правильно ли поступаю?

— Христос повелел прощать, — робко сказал дьякон.

О. Венедикт еще более округлил глаза.

— Я и прощаю. Мне какое дело... я не судья. А донести нужно! Ибо сказано: Божие — Богови...

Тут на дьякона напал о. Кронид.

Он напал на него как-то и справа, и слева, и позади, и кричал ему сразу в оба уха:

— Буль-буль-буль... Пойдем-ка... из стекляруса!

Но дьякон замахал руками и убежал.

Он вышел во двор и за ворота на площадь, где темнела церковь, и на фронтоне ее, в отблесках света из окон, виднелась фигура Илии; в колеснице, устремлявшейся в небо, он то выдвигался на свет, то скрывался, будто пытался улететь, и не мог.

Село бурлило.

Его веселые крики и песни перешли в тяжелое, буйное бормотанье. Как призраки пьяного сна, вдоль хат и заборов пробирались люди неведомо куда, нелепо тыкаясь, в недоумении ощупывая воздух непослушными пальцами. И, встречаясь, не могли разойтись. И, буйно вспоминая матерей, шли войной друг на друга, но не могли встретиться. А из распахнутых окон, вместе с тусклым светом чадящих ламп, лились потоки тяжкого, нечленораздельного бормотанья, переходившего в дикие вопли яростной схватки или слезливое причитание. Дьякон видел за окнами бледные лица с искривленными ртами, с диким взглядом налитых кровью глаз. Казалось, спиртный ураган пронесся над селом и оставил за собой безумие: село впало в тот бред, когда вселенная, с ее Богом, которому только что усердно молились, с ее скорбью, от которой только что плакали, превращается в веселую и пляшущую туманность, в безбрежную реку, которую нипочем перейти вброд, или в лицо врага, которое нужно немедленно сокрушить. Всюду дьякон натыкался на людей, дерущихся, как во сне, тяжело и молча. Переступал через живые трупы у заборов...

— Ну и пью-ют! — качал он головой.

И переводил взгляд в небо, как бы ожидая увидеть там проносящегося в колеснице Илию.

Но небо было пусто и мутно, звезды едва мерцали.

Тьма была пропитана запахами.

Точно гигантский черный рот, улица дышала алкоголем и бормотала ругательства; не было матери на селе, которую бы не кляли в драке, в споре, в полусне или просто в приступе веселья, — и скопом и в одиночку.

Но дьякон был привычен к этому.

Он только сомневался:

— Неужели... и Фока?

А ему так хотелось отправиться на реку, по туманной заре скользить в камышах, сидеть, в чутком ожидании, над таинственной глубиной...

У Фоки хата была темна, но со двора слышался веселый крик и топот. У дьякона защемило сердце. Он осторожно прокрался к плетню, чтобы в случае чего незаметно уйти. Но, заглянув через плетень, улыбнулся во все лицо.

Среди двора, у подсолнухов, стоял стол, на столе кипел самовар и лежала груда пирогов и закусок; у самовара хлопотала веселая маленькая женщина, и всё приговаривала:

— Кушайте, Петрович! Василий Терентьевич... чем Бог послал.

В багровом свете оплывших огарков мелькали веселые лица мужиков, бородатых и хмельных.

— Варва-а-а-рушка! — любовно бормотали они.

И играли в воздухе пальцами.

— Да уж мы...

— А уж вы кушайте.

— Ты бы, мамаша, с нами пригубила.

— Сваты мои. Я и то пьяна!

— А мы... терезвы. Ха-ха-ха. Ах, ты... Вар-ва-а-рушка!

Они тыкали носы в рюмки, некоторое время точно нюхали, а потом медленно запрокидывали головы и с блаженным видом выпивали.

И принимались смеяться.

— Фока-а-а! А мы за тебя... за твое здоровье. Ха-ха-ха.

Но Фоке было некогда.

Он в этот момент пригнул к гармонике голову и так заработал на ней пальцами, что она сама, казалось, превратилась в того веселого мужичка, про которого пела. И Фока разухабисто подпевал ей тонким голосом:

А-а-ахх... ты, сукин сын, камаринский мужи-ик!

Дух знаменитого мужичка появился на призыв. Всё, что сидело, сорвалось с мест. Всё, что еще могло стоять, начало выкидывать колена, приседать, кружиться, корчиться и ухать. Петрович, человек без бороды и с веселым носом, вскочил даже на скамью, но тотчас, как бы ныряя, исчез в подсолнухах. Василий Терентьич, словно весь сработанный из черной, мягкой кошмы, бесшумно приседал и, надув щеки, выкидывал ноги в черных валенках, подымая пыль. Всё смешалось в вихре крутящихся тел. Даже подсолнухи будто тряслись от смеха и кивали желтыми головами. А вокруг пляшущей толпы уточкой шла Варвара и помахивала платочком.

— Ва-рва-а-рушка, — кричали ей любовно: — ай да баба...

— А ну, сваты мои... кто мне под пару?

— Я, я!

Петрович уже выполз из подсолнухов.

— Я, Варварушка, я!

Он встал в позу, выпятил грудь и согнул колено.

— Ухх!

Но не двинулся.

— Жарь, Петрович!

— Ух, — опять крикнул он.

Сел на носок, выкинул ногу и поскакал вокруг Варвары. А Варвара точно раздувалась и качалась. И кивала смеющимся лицом. Фока бился с гармоникой веселым боем. Мужики ревели от удовольствия. Петрович хлопал в ладоши и несся вокруг Варвары, как бы падая.

Вдруг Варвара остановилась и вскричала:

— Ай-яй, это что за дух через забор смотрит?

Все обернулись.

— Это я, — сказал дьякон весело.

— Кто?

— Дьякон.

Фока отбросил гармонику.

И вот уж дьякон сидел за столом, и ему кричали со всех сторон:

— Звонарь ты наш.

— Запевало номер первый!

Петрович тянулся к нему с рюмкой. Василий Терентьич пытался поймать его в свои кошомные объятия. Варвара накладывала ему пирогов. А Фока кротко смотрел на него хмельным глазком и всё пытался сказать ему:

— О...тец... дьякон... я... люб...лю тебя...

Но у него всё выходило:

— Убь.. ю-ю...

Хотя очень любовно.

Потом выпивали. И еще.

Потом все шумно враз говорили.

Говорил и сам дьякон, и Фока, и Варвара, хотя каждый о своем, но в общем получалось что-то для каждого интересное. Петрович рассуждал о способах звона. Василий Терентьич убеждал дьякона поступить к ним на приход и обещал ему на новоселье корову. Дьякон после шестой рюмки вспомнил какого-то необыкновенного сома и подробно описывал, как ловил его. На это Петрович возражал что-то насчет пасхального трезвона, а Василий Терентьич, наконец, поймал дьякона и прижимался к его лицу кошомной бородой.

— О. дьякон... др-р-уг... возлюбил тебя!

Но дьякон еще только успел ухватить сома за жабры и, высовывая голову из-за кошомного плеча Василия Терентьича, кричал:

— А он... как попрет меня... в глубь, в глубь!

И дьякон веселился, воображая какую-то веселую реку и веселого сома.

К нему тянулись с рюмками.

Варвара говорила:

— Пригубьте, о. дьякон... с праздничком-то.

Дьякон пригубил.

И, забыв про сома, внезапно вспомнил, что сегодня Ильин день. Он встал и умилился. И со слезами на глазах начал говорить, как мчался по небу Илия в колеснице огненной. Он смотрел вверх и видел Илию, веселого Илию на веселом небе.

И кричал:

— Живой! Живой! Смотри... и радуется! Ибо все мы... сыны и братья его. И когда земля сохнет от жары солнечной, он гремит и посылает дождь. И когда сердце сохнет от греха, он посылает слезы покаяния. Ибо духам бесплотным непонятны грехи наши, а он... живой!

Дьякон поднимал вверх руки.

— Он... понимает.

На это Петрович объяснил, как надо звонить в великий пост. Василий Терентьич обнимал Петровича и плакал, и повторял за ним:

— До-о-о-н, до-о-н!

Фока всё еще пытался что-то сказать, но не мог.

Тогда, с горя, он ухватил гармонику. И из нее вдруг полилась такая веселая речь, что мужики, а за ними и Петрович, и Василий Терентьич, всколыхнулись, метнулись, ухватились друг за друга, все враз сдвинулись с места, присели... и пошел снова топот, крики, пыль столбом.

Варвара плыла уточкой.

А дьякон всё еще стоял с поднятыми к небу руками.

И вдруг по лицу его разлилась блаженная улыбка. Он подобрал подрясник, потихоньку сделал шаг, другой.

И вдруг присел, ухнул...

— Ай, да дьякон... молодца! — кричали ему.

— Со мной, со мной, — изгибалась Варвара.

Дьякон шел гоголем, колесом, верстой, пятеркой, ухал, сгибался, выростал, становился фертом, будто падал вправо, влево, мчал вперед, клал голову на плечи. Вдруг будто сел на землю и, взбрасывая подрясник, стал так выкидывать ноги, что толпа превратилась в один хмельной, смеющийся и ревущий рот. Варвара не утерпела и сама пошла в присядку. А Фока приобрел связность речи, поднял гармонику над головой и, всё еще играя на ней, закричал звонко:

— Баста... умру за тебя... дья-я-кон...

Когда дьякон, растеряв по пути провожатых, ощупью нашел поповский дом, батюшкины гости разъезжались. На крыльце стоял со свечой о. Валентин и говорил в темное пространство:

— Милости просим... всегда вам рады.

С крыльца сводили о. Кронида.

Он был снова угрюм, молчалив и свешивал голову на грудь. Где-то в темноте слышался басок о. Кирика.

— А как у вас насчет... младенцев?

— Двугривенный.

— Видите, видите. А у нас... десять копеек!

О. Венедикт бессвязно кричал, отыскивая тарантас не там, где надо:

— Скакаше и играя... Это про Давида. Значит, и нам... гр-р-ешным... раз... ре..

Он смолк внезапно и как будто навсегда.

Пропели колокольчики.

Всё затихло.

Взошла луна.

У крыльца спал позабытый дьякон.

IV

Дьякон два дня валялся на сеновале. У него болели ноги и ломило спину. Жарко тут было лежать на пыльном и душистом сене, — как в бане. Но дьякону это нравилось.

— Как малину пьешь, — говорил он матушке Лизе: — пот гонит. А с потом всякая хворь выходит.

— Хворь-то была веселая, папаша, — усмехнулась матушка.

Дьякон сконфузился.

— Бес, — покрутил он головой: — бес горами качает.

— Ну, какой же тут бес, папаша, просто подгуляли.

Дьякон исподлобья взглянул на ее насмешливое лицо.

— Святым отшельникам в Фиваиде, — сказал он, — бес являлся в образе зверя, под свиным или собачьим обликом. Чуть забудут дверь перекрестить, он и тут. А мне...

Дьякон вздохнул и ухмыльнулся.

— Мне он всегда являлся в стеклянном виде.

— А в виде женщины? — лукаво взглянула попадья.

Дьякон вспыхнул.

— От этого Бог спас, — опустил он лицо: — да у меня и дьяконица-то была... строгая. Хотя...

— Что?

— Ежели отшельники... нам-то грешным и совсем трудновато. Что говорить, было раз... искушение.

Матушка так и припала грудью к столу, ожидая.

— Было?

— Девица одна... прихожанка. В церкви всё впере-

ди становилась и смотрела так ласково. А потом письмо прислала.

— Ну? Ну?

— Ну... акафист я читал Варваре великомученице каждый день по нескольку раз... епитимию на себя наложил, и пост. Также обещанье дал... к Троице-Сергию. Прошло.

Дьякон крутил головой и усмехался.

— Что уж теперь говорить... стар и сед. А девица-то была... хо-ро-шая!

В этот день, возвратясь с прихода, о. Валентин влетел в комнату, как бешеный. Не говоря ни слова, точно не замечая жены и дьякона, он высыпал дрожащими руками из карманов медяки, бросал серебряные монеты, выкидывал бумажки. Два серебряных рубля сделали по столу вольт, прыгнули на пол и укатились в угол, под шкап. О. Валентин только злобно бросил им:

— Прыгайте, прыгайте!

А матушка подбирала их.

На столе вскоре лежала целая груда денежной смеси.

— Ого, — неуверенно рассмеялся дьякон: — монет-то... совсем по-городски.

— Что? — вспылил батюшка. — По-городски? Ага! Так нет, вы сосчитайте... вы сосчитайте!

Он бегал и крутился по комнате и выкидывал руку к столу.

— Сосчитайте! А потом я вам скажу...

Он ударил кулаком по столу.

— С меня довольно!

Монеты запрыгали.

Но матушка уже охватила их руками и принялась считать, а о. Валентин скрылся в кабинете. Он что-то перекладывал там, ронял на пол. И вдруг выбежал, как бы весь в гневной пене.

— А скажу я прежде всего вот что... стыдно, папаша!

Дьякон удивился.

— Мне?

— Вам, вам, — как бы лаял о. Валентин: — дружить с моими врагами... яко Пилат! Стыдно. Предали собственного сына. Я всё знаю. Всё! Где вы изволили быть! С кем изволили отплясывать? Упиться изволили в компании людей богомерзких. Ага! Старичек... старичек Божий.

Уж он не знал, что еще сказать, только повторял:

— Ай-яй... старичек!

Матушка смущенно сказала:

— Валя!

Дьякон встал.

Губы его дрожали от обиды, но он заговорил сдержанно:

— Если я прегрешил... яко Ной, не уподобляйся Хаму. Кто ты, судия, чтобы судить отца своего? У тебя враги? А мне все люди друзья... это мое дело. Но, прегрешивши, как Ной, не повторю его проклятья, хотя Богом дана мне на то власть. Ведь, ты всё-таки у меня...

Дьякон горько усмехнулся:

— Единственный..

О. Валентин спал с тона.

— Но... ведь, посудите сами, папаша... престиж духовного лица.

— Я тебя на две ножки поставил? — строго прервал дьякон.

— То-есть, как это?

— И посох я тебе вручил... науку? Ну, так и иди своим путем. А я своим иду. Есть старинная поговорка: яйца курицу не учат. А то, ведь, у курицы и крылья есть... подберется, да и улетит.

— И яйца бросит? — криво усмехнулся о. Валентин.

— Да, коли они не яйца, а... болтуны!

И дьякон сел к окну и стал смотреть на реку.

Обида и вместе какая-то смутная тоска горели в

нем. Опять перед ним метался чужой человек и кричал звенящим голосом, и вопил, и говорил ненужные слова. Но уж дьякон не слушал их.

Как сквозь сон, долетали к нему отрывки разговора:

— ...такса... по таксе... с таксой...

Он искоса посмотрел на детей.

Матушка всё еще считала деньги, ставила их стопками, раскладывала кучками, и была вся пунцовая от волнения. А о. Валентин то принимался помогать ей, то бегал по комнате, взмахивал ручками и кричал... кричал всё одно, казалось дьякону, слово, всё то же слово:

— Такса!

Дьякон мысленно опять ушел к реке.

Вечером о. Валентин сказал ему:

— Папаша, не сходите ли вы со мной к моим друзьям? Нужно обсудить одно очень важное дело.

Дьякон молча согласился.

Дорогою о. Валентин сказал ему:

— А Фока-то. Убоялся, знаете...

— Чего?

— Гнева моего! Взял назад прошение.

И о. Валентин погрозил кому-то пальцем в темноту ночную.

— О... я их научу!

У кудластого лавочника сидели жандарм, церковный староста и писарь. Как только вошел батюшка с дьяконом, на столе появился самовар, сласти, водка и закуска.

— Благословите трапезу, — прохрипел лавочник.

— Во имя Отца...

Батюшка благословил стол.

Тотчас же выпили.

Немедленно жандарм начал рассказывать про ге-

нерал-майора Бека и его приключения на Кавказе. Писарь скромно, с опущенными глазами, перебивал его, добавляя, что когда он служил в городе, и среди полицейских были праведники.

— Подвижник, подвижник, — горячо рассказывал он про одного околоточного: — он матерное слово за версту слышал. Бежит, бежит старичек... и цоп! И опять, ежели... цыгарку у рабочего... и пилит, пока в пот не вгонит и в раскаяние. А уж ежели тебя пьяным увидит, никаких разговоров... цоп! Да-а... Павла Андреича всё начальство уважало.

Кудластый лавочник всё время только шумно и почтительно вздыхал.

— Спа-с-си, Го-о-споди!

А церковный староста поводил тараканьими усами и молчал, но не спускал глаз с водки.

Еще выпили.

Тут приключения генерал-майора Бека приняли фантастический характер: он уничтожил одно за другим целые племена инородцев.

И жандарм угрюмо радовался:

— Ежели человек не понимает, только и остается: по башке кокнуть!

Писарь уже крикливо убеждал старосту:

— Ежели у человека понимания нет, что же с ним сделаешь... Долбни! А, ведь, словом не вдолбишь. Христос долбил словом, а что вышло! До сих пор люди анафемы.

Староста не спускал глаз с водки и молчал.

А жандарм угрюмо согласился:

— Это верно. Кокни... он и поймет!

Батюшка горячо согласился с жандармом:

— Вы правы. Истинно... что же другое остается? Только каждый по своему званию кокает. Вы — саблей, а я, что поделаешь... словом. Слово — меч Божий! А правительство должно всех...

Он поднял палец.

— Законом!

— За беззаконие Христос целые города разоряет, — мрачно сказал жандарм, — вот недавно... остров провалился.

Лавочник вздохнул.

— Спа-си, Го-о-споди...

А батюшка кричал:

— Суд Божий... верно! А они не боятся. Вот хотя бы взять здешних прихожан...

Еще выпили.

Теперь батюшка завладел полем разговора.

Он стоял среди этого поля в гневной позе обличителя и напрасно между волчцов и терний искал доброго семени, — его не было.

— Пьянство, распутство... сквернословие, — перечислял он, — и всюду блуд!

Он приходил всё в большее возбуждение и кричал, что молитвеннику за такой народ и предстателю пред Богом нужны великие силы для обличения, ибо он денно и нощно печется о погибающих душах, целит язвы греховности, молит Господа, да не покарает строго безмерное распутство умов и сердец. А они, вместо благодарности...

— Такса! — вопиял он. — Такса... Можно ли было что выдумать более богомерзкое?

Дьякон с тревогой наблюдал за сыном.

А тот клялся, что не уступит в этой борьбе за свои права, доведет дело до епископа, до синода. Выше, если понадобится. Ибо священник сам должен оценивать свой труд на ниве Господней. Он ссылался на тексты, на приходскую практику в других местах.

Староста, наконец, не вытерпел.

— Выпьем!

Тут уж разговор стал шумным и всеобщим.

Жандарм гудел, что только генерал-майор Бек мог бы всё привести тут в порядок, а писарь рекомендовал Павла Андреича. Староста под шумок налил себе стакан

водки и уединился в угол. Батюшка кричал, что если понадобится, — дух генерал-майора Бека и Павла Андреича проснется в нем... Только пусть его поддержат.

— Пусть поддержат! — кричал он, воздевая руки.

Лавочник шумно вздыхал:

— Спаси, Го-о-споди...

А жандарм бурно уверял:

— Вы власть... поддержим!

Писарь впал в чувствительность:

— Батюшка. Я... люблю вас! Я... всё сделаю. Поддержу...

— Подде-е-ржим!

Староста неожиданно получил дар речи и сказал:

— Выпьем!..

Еще выпили.

Дьякон незаметно скрылся.

V

Еще заря не занималась, как дьякон проснулся: кто-то звал его из темноты тонким голоском.

— Кто? Чего надо? — в просонках не понимал дьякон.

— Это я, о. дьякон.

— Кто?

— Фока.

Дьякон старался сообразить, где он находится и что это за Фока, как вдруг вспомнил и обрадовался:

— Вы что? На речку, что ли?

— Скорей, о. дьякон. Свет близко.

— Сейчас, сейчас...

Вскоре они шагали по темной и сонной улице. Потом переулком вышли в степь, ровную и смутную. Под крутым берегом перед ними тускло засеребрилась река. Фока, шурша камышами, сдвинул лодку в воду. Оставляя за собой темный, расходящийся след, они выплыли

на простор плеса. Недвижная гладь его светлела, как потное зеркало, и от нее шел свежий холодок. Стук весла о борт далеко разносился, тревожа уток в камышах.

Берега темнели.

И задумчиво простиралось над ними темное небо.

От всего вокруг исходило впечатление сна. Спал камыш неподвижно, и сонно колыхался, когда задевала его лодка. Пролетела вверху, молчаливо и бесшумно, как сонная, ночная запоздавшая птица. Спал лес, мутно отражаясь в воде. И сама вода струилась, как сонная, и сонно вздыхала в камышах.

— Знаю я тут окуневое место, — шептал Фока: — уж такой окунь водится... в-вот!

— Окуньков люблю, — говорил дьякон, — окунек приятная рыбка. Клюет хорошо. Не то, что какая-нибудь там сигушка... только душу вымотает. Солидно он клюет. Люблю!

— А то есть тут в одном месте...

Фока весело мигал глазом.

— Карась.

— Нет, уж лучше, Фока Леонтьич, к окунькам чальте.

Подул предрассветный ветерок.

От него мелкая рябь пошла по воде, река потемнела и вздулась. Но ветер стих, точно убежал куда-то на простор полей, как посол от далекого солнца, и снова зеркальной стала речная гладь.

У высокой стены камышей они привязали лодку и сидели так тихо, что вблизи шептались сонные утки и не улетали. Лишь когда дьякон, бросая крючек, ударил рукою в борт и гулкий звук побежал по воде, утки тревожно закрякали, и видно было по движению и шелесту камышей, что они поспешно уплывали. От брошенного крючка всплыл круг, разросся, убежал к берегам.

— На жереха, — сказал дьякон, — благослови, Господи!

...Звезды гасли...

Разгоралась заря, как бледная улыбка.

Всё вокруг проснулось, запело, защебетало, зашелестело крыльями, словно природа, стряхивая сон еще с темных век своих, открывала веселые глаза.

Дьякон поднял голову.

— Птицы-то, птицы-то...

С веселым лицом он оглядел речную гладь, зеленые берега и на той стороне звучащую, как хорал, лесную чащу.

— Всякая тварь поет славословие Господу. Творение рук Его воздает Ему хвалу. И цветы источают фимиам Ему... И всякое древо лесное как бы поет: — благодарю Тя!

Дьякон даже повел плечами:

— Хоро-о-шо...

Но тут поплавок лег и вдруг побежал ко дну.

Дьякон только сказал:

— Р-раз!

И над водой, извиваясь, запрыгал цветистый окунь.

— Иди-ка сюда, дьяче, — говорил ему дьякон.

Он осторожно и любовно снял окуня с удочки, подержал его в руках, любуясь им. И опустил в сетку. Потом насадил свежего червяка и сосредоточил всё внимание на поплавке. А Фока чему-то про себя усмехался и потом заговорил:

— Отчего это, о. дьякон, вы про человека-то и забыли?

— Как так?

— Все... поют! А отчего он один сквернословит?

Дьякон подумал и кратко сказал:

— Бес!

Фока посмеивался:

— Бес-то... оно конечно... тварь хитрая. А всё же... Вот я по земле странствовал, разного народа перевидал

ни есть числа. И промежду прочим, сектантов. Их много в нашей стороне. Есть такие, что в белых рубахах ходят... и лица у них светлые. Есть тоже книжники: каждую святую букву он тебе расскажет. И есть тоже такие, что дыре молятся.

— Дыре-е? — удивился дьякон.

— Да. В темной комнате провернет дыру на свет и лучу молится. Это, говорит, око Божие.

— Еретики, — хмуро сказал дьякон.

И отплюнулся.

— Их ждет пламень огненный.

— А почему же, скажите мне, о. дьякон, живут-то они по Божьи? И каждый каждому — брат. На церковного человека после них посмотришь... совестно. Каждый друг другу не брат... а мошенник! И Бог-то у них только на словесах. Да ежели бы ихняго-то Бога где-нибудь поймать да в лицо ему посмотреть... бес!

Дьякон круто и подозрительно взглянул на Фоку.

И отвернулся.

— А не поехать ли нам на карасика, Фока Леонтьич?

Фока посмеивался:

— Можно.

— Там я на жереха поставлю, а то здесь что-то не того... надувает рыбка Божия.

Они сложили удочки и выплыли на светлую гладь.

Солнце уже взошло, но было еще багровое от испарений. Чуть заметный туман вставал над берегами. Река дышала холодком. Они скользили по течению. И, казалось, берега бежали мимо них, — берега, покрытые синими цветками, теми, что свертывают свои лепестки днем. Кое-где ива склонялась, будто целуя воду. Или хмуро отражался в воде, словно в зеркале, лес.

Внезапно наполнил окрестности гулкий голос колокола: это о. Валентин собирался дохаживать по приходу. Дьякон снял шапку и медленно перекрестился.

А колокол пел:

...до-ун... до-ун... дон ...

Из камышей шумно вылетали утки и, делая круги, с криком улетали в поля.

— Людие мечутся, — задумчиво заговорил дьякон, — а никому же гонящу. Всё им мало. И оттого... зло!

Он искоса посмотрел на Фоку.

— А им бы радоваться. Не для них ли сотворил Господь всяческая? И солнце с луной... и звезды. Землю распространил во все стороны и покрыл ее цветами. Ходи, человече Божий, и радуйся, поучаясь у тварей поднебесных... пой хвалу. И славь! Вот птичка: поклюет зернышков... и поет. Смотрит на солнышко глазком... и весело ей. Радуется. Вот и рыбка речная... Клюнет...

— И на удочке, — подхватил Фока.

Он весело засмеялся.

— То-то и есть. А, может, каждый человек у кого-нибудь на удочке сидит? Оттого и мечется.

— У беса, — сказал дьякон.

Он нахмурился и смолк.

— А сектантов не люблю! — круто добавил он.

Фока молчал и посмеивался.

...Речные берега разошлись полукругом...

Широкий, светлый плес.

Фока направил лодку к крутому берегу.

В тени лесной чащи, тут вода почти не двигалась. Корни деревьев выпирали из глинистого берега и, как чудовищные корявые пальцы, тянулись к темному омуту. Словно вечная прохладная тень сторожила омут. Над ним склонялись недвижные ивы и точно плакали светлыми слезами. С вышины берега в него задумчиво смотрели вековые дубы и вязы, сгибаясь над обрывом. А немного дальше река светлела и искрилась, отражая солнце.

Над омутом к корням они привязали лодку.

Фока, налаживая удочки, сказал потихоньку:

— Отчего это у вас, о. дьякон, свет клином сошелся?

— Клином? — удивился дьякон, — то-есть, как это?

— Вот вы... сектантов не любите. А православные для вас... у беса на удочке сидят. Стало быть... и прочих.. кои староверы, иудеи... или мухометане... у коих свой Бог..

— У них Бог ложный!

— Или вот там... калмыки...

— Они в змия веруют, — хмуро сказал дьякон.

— Пусть. А разве солнце Божие не на всех светит? И всех радует... Зачем же человек на человека только холод напускает! И может ли человек сказать брату своему, хотя бы и грешнику, — не люблю тебя.

Дьякон уже собирался бросить крючек в воду, но задержал его в руке и повернул к Фоке лицо. И вдруг лицо его осветилось доброй улыбкой.

— Это верно, — вскричал он: — Господь их разберет; не мое дело!

Потом, помолчав, скосился на Фоку.

— А вы, часом, не сектант?

Фока усмехнулся как-то загадочно.

— В церкви венчан...

Тут подошло целое стадо окуней.

Под лодкой, в глубину омута, они заинтересовались червячками и один за другим становились жертвой доверчивости. Дьякон и Фока то и дело подсекали. Темно-золотистые рыбки мелькали в воздухе и, снятые с крючка, в мутном ужасе разевали маленькие рты. Дьякон и Фока напряженно молчали. Иногда только дьякон шептал:

— Ну, и рыбка... точно дьякона в пасхальных стихарях.

Вдруг он вытащил леща.

— Ого, теперь архиерей пойдет, — возрадовался он.

Но в темной глубине, повидимому, произошла какая-то драма.

Больше не клюнуло.

На поплавки скучно смотреть — так они неподвижны.

— Щука подошла, — соображал дьякон: — либо сом.

И он смеялся:

— Консистория!

А солнце взбежало уже высоко, стало золотое и знойное. Вдали над полями стояло марево, и теплый воздух, как из печи, временами наплывал оттуда. Вокруг всё пело, стрекотало, крякало, звонко пищало и где-то квакало, — точно сотни ртов враз издавали разноголосые звуки. Водяная крыса плескалась у берега. Кто-то со дна пускал пузыри. По реке то и дело шли круги играющей рыбы. И в реку упадала иногда чайка, как белая молния. А в лесу пели дрозды, малиновки. И где-то одиноко и отчаянно кричала галка.

Фока с дьяконом взобрались на крутой берег, развели костер, вскипятили чай. И, сидя у обрыва, чтобы всё время видеть крючки, благодушествовали со стаканами в руках. Дьякон предавался воспоминаниям о разных случаях на рыбной ловле. И всё смотрел вокруг и любовался, и вздыхал радостно:

— Какая благость! Умереть бы тут... и то весело. А уж эти мне... камни. Надоели!

— Какие камни, о. дьякон?

— Город!

Фока задумчиво глядел на реку.

И вдруг спросил:

— Отчего это, о. дьякон, свет-то Божий... для вас чужой?

— Вот вы всё говорите: не мое дело.

— Как так?

Дьякон круто и удивленно повернулся к Фоке.

— Да что вы, Фока Леонтьич, всё с вопросами? Даже странно!

— С хорошим человеком и поговорить интересно. А без вопросов... как же? Не проживешь.

И как бы считая это дело поконченным, Фока заговорил задумчиво и медленно:

— Вот вы говорите, о. дьякон... земля! Оно точно. Распространилась она, эта самая земля, очинно даже широко. И цветов на ней много. А вот понюхать их... нельзя!

— Как, нельзя?

— И ходить по ней, по земле-то, тоже... невозможно.

— Почему?

— Чужое всё.

Фока взглянул на дьякона.

Кроткий глазок его был темен и пытлив.

И вдруг Фока представился дьякону каким-то другим, чем за всё это время: каким-то новым и очень серьезным. Дьякону даже подумалось, что душа у Фоки — омут. — «А какая там рыба плавает... поди-ка, разбери». Но уж очень скоро дьякон разобрал, что и рыба там очень серьезная, только незнакомая какая-то и странная; то зуб щучий покажет, то вдруг обернется веселым головлем, а там уж это и не головль, а сом, да с таким ртом, что вселенную заглотает. Дьякон наполовину и не понимал его слов, но изо всех его речей перед ним всплывало, билось, пугало его одно только слово, и оно бежало над рекой и уносилось в поля, где сияло марево:

...земля... земля...

— Да что это он наладил, — недоумевал дьякон.

Фока подбросил сухих веток в костер.

Встал.

И прохаживался, хотя у костра было очень жарко. Будто стал выше ростом. Говоря, всё выбрасывал руку и глазок его сверкал. Видно было, что уж очень много накопилось в нем такого, что надо было поскорее высказать. Дьякон забыл про крючки и всё с большим удивлением смотрел на него. — «А уж не правы ли дети, — думал он: — человек-то беспокойный». А Фока начал с маленького, со своего, с деревенского. А потом вдруг побежал по полям, и поля от его бега стали черные, проросли лопухом, крапивой и полынью. Исчезло светлое марево, всё облегла мутная мгла. И в этой мгле он метался, путался в травах, не находил выхода, звал, кричал:

— Земля...

И с горькой улыбкой, с темным взглядом, вспоминал каких-то детей, хоронил их, плакал над ними. И бежал к людям Божьим, к странникам, к сектантам, и спрашивал их о чем-то таком, от чего дьякону становилось страшно и жутко. Он смотрел в горящее лицо Фоки, и вдруг понял, что там, в омуте, в сердце Фоки, живет лютая тоска, и что она в какой-то связи с этим неумолкающим криком его, с этим словом:

— Земля... земля...

Мутная мгла превратилась в багровую. И по багровому небу поплыли багровые тучи. Что-то ломалось и с грохотом рушилось вокруг, а Фока стоял, как в дыму и пламени, и дико радовался и зло смеялся.

Вдруг он смолк, сел, будто успокоился.

И лицо у него опять стало кроткое.

— Ежели по справедливости-то, — тихо сказал он: — разве не так?

Дьякон покрутил головой.

— Не знаю, Фока Леонтьич.

— Как же вы не знаете, о. дьякон? Вы человек ученый.

— Не моего ума дело.

— А чьего же?

— Божьего. Как Господь устроил... значит, и хорошо; значит, и полезно для человека. А переиначит Он...

Дьякон подумал.

— Тоже будет хорошо!

Фока хмуро усмехнулся.

— Значит, и дожидаться, когда Он переиначит?

— Конечно. Ибо сказано Им: будет новое небо и новая земля.

И дьякон поспешно добавил:

— Только это на том свете!

В этот момент случилось сразу два события. Кто-то из воды так натянул толстую лесу, что лодка зашевелилась. И в то же время из села донесся набатный звон: короткие удары гулко бились в воздухе и точно спешно бежали, падая в полях.

— Сом!

Дьякон кинулся в лодку.

— Сом... сом!

Он отвязал лодку.

И теперь кто-то большой и сильный там, в глубине, натянув лесу, повлек лодку к средине реки. А Фока стоял, вытянувшись, на обрыве, слегка расставив руки, и напряженно смотрел в сторону села: село виднелось вдали, как большой желтый змей, разлегшийся в зелени.

Дыма не было... значит, не пожар.

Сердце Фоки тревожно билось от каких-то предчувствий, которых он и сам не сумел бы объяснить.

А дьякон вопил:

— Сом... сом!

Он наматывал лесу на руку и тянул ее, и сдерживал, словно управляя невидимым конем, а другой рукой приготовлял большую сетку, чтобы подцепить рыбу.

— Митрополит попал, — веселился он, — патриарх!

Лодку тянуло вправо, влево.

Дьякон всё ближе подводил к себе рыбу, и уже видел в воде ее темную, изгибающуюся спину.

— Сюда, сюда, — орал он: — сюда, ваше преосвященство! Сюда, владыко, сюда! Ого-го, — веселился он.

И ликовал, и пел:

— Испо-лаите де-е-спота!

Но деспот был упрямый.

Он рвался, крутился. Лодку кренило.

Вдруг дьякон поднял голову.

— Что это? — прислушался он к набату.

Для деспота было этого довольно.

Он рванулся.

Дьякон полетел в воду.

— Лодку держи, лодку, — кричал он, барахтаясь, но не выпуская, однако, лесы.

Фока кинулся за лодкой.

А дьякон плыл к берегу, постепенно распуская лесу, выбрался на берег и опять вступил в борьбу с водяным чудовищем. Надо было тянуть осторожно, чтобы не оборвать лесы. К нему подоспел на помощь и Фока.

И вот из воды показалась огромная и страшная голова с усами.

Она сделала последнюю попытку метнуться в глубь. Но Фока уже подставил сетку. И темное водяное чудище забилось на берегу.

У дьякона тряслись руки от восторга.

— Ка-кой хо-роший! Ах, ты... ми-и-лый!

Но тут он опять в беспокойстве поднял голову.

— Набат, кажется, был?

— Набат, — как-то разочарованно ответил Фока, — да очень недолго.

— Пожар, что ли?

— Дыму не было.

Дьякон почесал в голове.

— Бежать надо. Не опять ли Валентин напрокудил... ох!

Но взгляд его упал на сома.

И он опять расцвел и засмеялся, и подмигнул Фоке:

— А уж пирожка поедим... из патриарха-то!

VI

Церковная ограда была полна: мужики и бабы толпились вокруг крыльца. На крыльце стоял о. Валентин и кричал. И все кричали ему в ответ.

— Я не позволю, — потрясал руками о. Валентин, — не позволю собой командовать!

Фока остался позади.

Дьякон пробрался к крыльцу и встал рядом с сыном.

И, увидавши его, все в раз закричали:

— О. дьякон! Вот он... дьякон.

Тесно обступили крыльцо.

— Он... рассудит!

О. Валентин яростно кричал:

— Я облечен властию... свыше! От Господа облечен я! Я... начальник душ ваших, ибо разрешать и связывать дана мне власть. Я...

Но слова его заглушались криками:

— Пусть дьякон...

— Рассуди нас, дьякон!

— Рассуди с ним...

Большой красный мужик шумел:

— Ен бумагу разорвал!

Дьякон стоял в непросохшем еще подряснике, в волосах его запутались водоросли. Он задумчиво смотрел на красные, злые лица и прислушивался к крикам.

— Папаша, отстранитесь, — кричал о. Валентин: — тут не ваше... тут приходское дело.

В толпе подхватили:

— Папашу не отстраняй!

— Папаша-то... он лучше тебя всё знает, он рассудит...

— Папаша... рассуди!

Дьякон слегка отвел рукой сына.

— Папаша! — угрожающе крикнул о. Валентин.

Дьякон усмехнулся.

— Чего пугаешь... не страшный.

— Я вас прошу...

— Успокойся!

— Не вступайтесь в мое пастырское дело.

— Замолчи! Я по своему делу.

— Вашего дела тут нет. Какое тут ваше дело?

— Да вот люблю я слушать... страшные истории.

— Что-о?

— А тут видишь, сколько их рассказчиков-то.

Со всех сторон из толпы кричали дьякону:

— Он притеснитель!

— Мы в секту уйдем.

— Мы уйдем...

— К молоканам мы уйдем!

— Он...

Жалобы разрастались.

Всё, что только накопилось против священника,

изливалось в обвинениях. Кричали до хрипоты в голосе... пока страсти не разрядились в словах. Толпа стала стихать, только где-то еще вопил большой красный мужик настойчиво одно и то же:

— Ен бумагу разорвал!

И вдруг как-то враз все смолкли.

Тогда заговорил рыжий староста, похожий на таракана:

— Общественный приговор... такса. С печатями и подписями. В церкви висело. А он...

Староста указал на о. Валентина:

— Разорвал!

Наступила тишина.

Кто-то крикнул:

— Ну, что ты скажешь, о. дьякон?

Дьякон задумчиво глядел в землю.

— Что я скажу?

Он посмотрел вверх, в небо, и перевел глаза на колокольню.

— Скажу, что... звонили-то не так! Меня надо бы позвать. Какой же это звон. Трах-тарарах... ни то, ни се. А вот у нас раз в городе... пожар! Я на колокольню... Чудес там натворил. Все в городе догадались: это дьякон звонит! Так вот, в другой раз, ежели... так-то вот выйдет...

Он подмигнул

— За мной прибегите.

В толпе поплыл смех.

— Ты о деле-то скажи!

— А то вот раз, — продолжал дьякон! — такой случай был... драка! Под окном сижу, смотрю: не судом дерутся двое. У одного из носу кровь фонтаном, другой синяками разукрашен вместо глаз. Друг друга за волосы волочат и вопят неведомо что. Ну... я вышел. Раз-

вел их вот так-то... — «В чем дело?» — спрашиваю. Стали они мне объяснять... а и драться-то не за что. Потом смотрю по улице... и-и-дут рядком.

Толпа снова засмеялась.

— Загадки гадаешь, о. дьякон.

— Я не одни загадки... и пословицы знаю.

— А ну-ка... скажи!

— Худой мир лучше доброй ссоры.

— Нет, ты погоди, — уже весело кричали в толпе, — нет, ты постой. Зубы-то не заговаривай. Нет, ты скажи: что об этом деле думаешь?

— Что я думаю?

— Да, да... да!

— Я думаю, что вот...

Дьякон усмехнулся.

— На реке я был. И такая там благодать! А ры-ы-бы-ы... Кабы, братие, да бредень. Все бы мы беды забыли и такую ушицу смастерили... на всех бы хватило!

Тут толпа стала одним смеющимся ртом.

— Бредень... вот это верно!

— Ай, да дьякон!

— Бредень...

— Рассудил!!

— Ребята, тащи бредень!

— Уважим дьякона!

Большой красный мужик метался перед дьяконом.

— К нам иди. К нам! Мы тебя в попы выпросим.

О. Валентин стушевался, скрылся.

Про него забыли.

Вынырнули откуда-то Петрович и Василий Терентьич. Взяли дьякона под руки. Толпа сжала, окружила его и только его седая голова возвышалась где-то в центре.

Из переулка пять человек тащили бредень.

Отовсюду скакали ребятишки.

— Баб! — кричали в толпе: — с котлами. Уху варить!

...Берег реки запестрел, ожил...

В воде шумно бурлили волосатые люди. И гаркали, и орали, выволакивая бредень на отмели. И опять шли в глубину. Хлопали по воде, загоняя рыбу в бредень. Вверху в испуге кружились вспугнутые утки.

Спустилась ночная мгла.

Запылали костры.

Разгорелось веселье...

Но тут над рекой оно было другое, не то, что тогда в селе. И в шумном говоре у костров перед дьяконом опять всплыло слово... то магическое слово, от которого давеча душа Фоки показалась ему темным омутом. Но и тут, в ночной тьме, при зареве костров, в звуках тревожно-веселого говора ему почудился тот же таинственный, пугающий омут.

И он крутил головой:

— Мечутся людие.

На утро, рано, о. Валентин увидел в окно, что дьякон запрягает лошадь.

О. Валентин вышел на крыльцо.

— Куда это, папаша?

Дьякон молча затянул супонь, поправил дугу, потом сказал, не оборачиваясь:

— В гостях хорошо... а дома лучше!

Потом он холодно простился с детьми, сел в тарантас...

И уехал.

— Приедете еще, папаша, надеюсь, — сказал в воротах о. Валентин, как-то так... между прочим.

Дьякон промолчал.

За селом он обернулся, увидал широкий, светлый речной плес... приостановил лошадь, снял шляпу. Долго смотрел, кивал лицом. Потом нахлобучил шляпу низко на глаза...

И погнал лошадь.

КОЗАК КОЛОДИН



I

Поселок мирно спал в тихих объятиях ночи. Широкая река, фосфорически светящаяся под мерцательным сиянием млечного пути, лениво и сонно бурлила в глухих омутах своих, и за рекой дышала сонным дыханием степь, скрытая непроницаемой тьмою. Вся природа забылась в крепком сне среди ночной прохлады. Только в трехоконном флигельке казачьего урядника Колодина еще брезжил одинокий огонек. Поздно в эту ночь засиделся Колодин за книгой. Но не столько читал он, сколько думал над раскрытой страницей, и так крепко думал, что не замечал нагоревшей свечи и не слыхал, как кто-то во весь звонкий лошадиный скок проскакал по сонной улице.

Вдруг горячие ручки охватили его шею и худенькое тело подростка-девочки прильнуло к нему.

— Папа! Ты еще не спишь?

Он любовно взглянул на миловидное, заспанное личико, горячей щечкой прильнувшее к его щеке.

— Худышка! Ты чего вскочила!

— Ах... Я сон какой видела! Будто ты на войне, скачешь, машешь шашкой... А головы так и летят, и летят... и летят! Страсти!.. На войне всегда так бывает?

Колодин не успел ответить на любопытные вопросы дочки. Чьи-то бегущие, торопливые шаги послышались вблизи на улице и в раскрытом окне появилась черная, лохматая голова.

— Иван Степаныч! — проговорила голова, задыхаясь от поспешного бега, — в правленье! Скорей!

— Зачем? — удивился Колодин.

— Атаман требует...

— Среди-то ночи? Да что там за дела такие приключилися?

Голова всё еще не могла отдышаться.

— Лошадей, слышь, из табуна угнали киргизцы! Пастух Иваныч прибежал... сказывает... Ох задохся я совсем... Беги скорей, Степаныч: в момент требуют, а мне еще нужно за Неудобным идти.

Голова скрылась.

Колодин с неохотой поднялся и стал одеваться.

— А ты спи, худышка моя! — говорил он дочери, — спи без снов: еще рано тебе сны видеть! Спи, сиротка моя... А я пойду. И зачем это я только им понадобился?

В обширной, полутемной правленской комнате сидел за столом полнолицый, коренастый атаман в валенках и наброшенном на плечи мундире. Тут же стоял высокий и болезненно-худой белобрысый казак Акимов, прозванный за худобу свою палкой. Он внимательно, как и атаман, прислушивался к басовитому говору энергично жестикулирующего грудастого казака с широкой, всклокоченной рыжей бородой и круглыми на выкате глазами.

— Я, — кричал казак, — ему говорю, Мишке-то... Что, мол, это лошади беспокоятся? Не волк ли бродит? А тут как Удавка с Барином поднимутся, да помчат, да зальются!!! Слышим... топы-топы... Полетел кто-то по степи... Мы — туда! Мы — сюда! Мы на конь!

— А вот и Иван Степаныч! — прервал атаман рассказчика, поднимаясь навстречу могучей фигуре Колодина.

— Давненько не видались, — здоровался Колодин, — здравствуйте, старички! Зачем мои старые кости понадобились?

— Несчастье, — сказал атаман, — лошадей угнали!

— Мы — туда... Мы — сюда! — заметался вновь по комнате Григорыч. — Ты старый степной волк, Иван Степаныч... скажи на милость: разве киргизского скакуна догонишь на наших лошаденках? Выбирать некогда, да и где в темноте выберешь... Взнуздали первых попавших, схватили ружья, скок-скок по степи-то...

Он в унынии взмахивал руками.

— Скок... скок! Не сладишь еще с лошаденками-то, к табуну тянут, кружатся! А киргиза тем временем и след простыл...

— А много угнал?

— Кто же знает... Мотри, не меньше пары!

— Несчастье, — сказал Колодин. — Ну, а я-то тут что же? Меня зачем звали?

— К тебе просьба, Иван Степаныч! — молвил атаман — ты, брат, старый степной волк... Недаром заслужил урядника да Георгия зацепил! Поколесил по степи-то порядочно, знаешь все ходы-выходы, все тропы мышиные, все уловки звериные... Не одного, поди-ка, сарта за службу-то свою выследил?

— Приходилось всяко... Ну?

— И нашу степь хорошо знаешь. Поезжай, сделай милость, выследи разбойника, пока он в свою разбойничью орду не умчал! Может-быть, выследишь и нагонишь... Сослужи службу обществу.

Колодин подумал и сказал:

— Можно... А кто со мной поедет?

— Вот Федор Григорыч... Палка...

— Не извольте обижать, ваше благородие! — сказал Акимов.

— Ну! — засмеялся атаман, — а ты не обижайся! Ведь все тебя так зовут... Видишь, какой длинный да тонкий вымахал, удивительно, как тебя буря не переломит. А еще я за Неудобным послал. Да вот, должно-быть, и он..

В комнату вошел низенький, неуклюжий казачек, с черной бородкой клинушком, широкий, кривой, с дуго-

образными руками и ногами, и с головой, втянутой в плечи.

— Вожжин! — обратился к нему атаман, — сейчас же забирай винтовку и — в степь! Вот вам атаман, — указал он на Колодина, — собирайтесь и с Богом!..

Через час четыре всадника выехало за околицу поселка.

Ночь уже была черна, как чернила.

Всадники ехали шагом вдоль крутого берега реки, которую млечный путь серебрил мерцательным отражением.

— Береги лошадей! — говорил Колодин. — Если лошадь не нудить спервоначалу, а дать ей шагом разойтись, потом на ней хоть сто верст поезжай. А пока, головушки, обсудим, куда путь держать?

— А в самом деле? — сказал Григорыч, — куда?

— А куда киргиз-то помчал? — спросил Палка.

— На гнилой угол, к западу...

— На Николаевский поселок?

— В том-то история: разве на русское жительство киргиз поедет? Того и гляди на казака налетишь, а уж тот сообразит, что лошади уворованные.

— Обманул, значит, пес: ложный след сделал?

— Обманул... Сбивает! Повернул куда-нибудь потом.

— Задача!

— А ты как, Неудобный, думаешь? — спросил Палка.

— Куда вы, туда и я! — беспечно отвечал Неудобный, — по мне, всё единственно...

Палка рассердился.

— Дурак!

— Да я же степи не знаю...

— Какой же ты казак после этого!

— Стой, головушки! — обернулся Колодин, — не

ругаться надо, а дело обсуждать. Я так полагаю: направо у нас Николаевский поселок?

— Николаевский...

— Туда киргиз не поедет. Налево переселенцы из России недавно хутор основали на офицерском участке. Туда — тоже не рука... Некуда было иначе ему ехать, как промежду этих двух жительств, где ордынская земля клином врезалась. Там через Карасу прямо к Черной речке; а уж за Черной речкой хоть на край света степного поезжай. Если мы его до Черной речки не устигнем, ищи ветра в поле, — убежит!..

— Велика Черная-то речка!

— Там два брода есть, я знаю. До Карасу доедем — подумаем, к которому броду ехать.

Так совещаясь, они медленно переехали речной мост.

— Ну, — сказал Колодин, — теперь лошадки размялись... Гайда, ребятушки!

— Гай-да-а, миленькие!!.

Погоня помчала.

Степь наполнилась звуками лошадиного топота. Какая-то птица ночная бесшумно метнулась возле всадников и с писком потонула в темноте. С реки тянуло приятной свежестью. Но река вскоре осталась в стороне, и всадники углубились в степь. Молодцеватая фигура Колодина темнела впереди всех. Палка казался на лошади фантастически-тощей тенью. Григорыч всё пригибался к луке, как будто высматривая дорогу; а Неудобный так прыгал и трепыхался в седле, что казалось, будто он пляшет какой-то неуклюжий танец.

Таинственно-тихая мгла пугливо вздрагивала от лошадиного топота.

— Частенько по степи скакать приходилось мне в такие-то ночки, — говорил Колодин, полной грудью вдыхая ночную свежесть. — Бывало, сартов выслеживать командир отправлял... Раз лазутчика я чуть не подстрелил...

— Утек? — спросил Палка.

— Пока на конь садились, его и след простыл, — провалился в балку какую-то...

— У меня бы не ушел! — уверенно пробасил Григорыч.

Все засмеялись.

— А сегодня-то что же упустил?

— Винтовки не было... горе! В винтовке у меня пуля завороженная! Бабушка Карячиха над водой заговаривала. Я бы его, пса, на месте оставил. Ну, да мое от меня не уйдет еще...

Млечный путь между тем бледнел и бледнел, пока не заалела заря. Заря быстро разгоралась, наполняя степь свежими волнами веселого утреннего света.

Уже солнце взметнуло лучи свои из-за степного горизонта, когда погоня прискакала к Карасу.

Место здесь было глухое, пустынное.

Небольшой ручей, неведомо где начинавшийся и неведомо куда исчезавший, извивался вдоль бугра. Берега его заросли травой и полуиссохшей осокой, таинственно шептавшейся с вольным ветром степным, мягкими порывами налетавшим из-за бугра.

Колодин тотчас дал распоряжение Палке ехать вправо по берегу ручья, а Григорычу влево; сам же взобрался на бугор и стал внимательно осматривать с него необозримые горизонты степного простора.

Не успел Колодин утвердиться на своем наблюдательном посту, как издалека послышались призывные крики Палки.

Тотчас поскакали к нему и увидели на вязком берегу ручья следы нескольких коней.

Трава была примята и утоптана.

— Не ошиблись! — молвил Колодин. — Что Бог даст дальше, а начало хорошее.

— Следы свежие! — говорил Палка, — перед зарей поили лошадей... Это он! Кроме некому!

— А может быть, здесь проезжали степные киргизцы? — усомнился Григорыч.

— Они бы нам навстречу попались.

— Могли и не попасться, если за ручьем в Николаевске свернули...

— Это мы сейчас увидим! — сказал Колодин.

Он поехал от ручья по следам. Следы исчезли почти тотчас на жесткой почве. Но далее, на обширном пространстве солончаков они обозначались явственно.

— Смотрите, — сказал Колодин, — следы ведут не из степи, а в степь.

— Правильно.

— А потом видите? Одни следы глубже и явственнее, другие же слабее, чуть видны: ехал стало быть верховой, и при нем были свободные лошади... Так?

— Так!

— А куда следы ведут? За бугор? Значит и думать нечего: киргиз помчал ко второму броду. Обманным же образом здесь со следу сбивать ему и в голову не пришло бы: ехал до зари и не знал, что следы оставит... Так ли?

Казаки пришли в восторг.

— Голова ты, Иван Степаныч! Степь, как книгу читаешь... Настоящий степной волк!

— Дадим же, ребятушки, коням травы перекусить, напоим да и гайда дальше!

Через час они скакали далее по широкому степному простору.

II

Раскинулась степь на необозримое пространство. Во все стороны, куда не кинешь взор, ушла она под далекие горизонты, задернутые тонко-сизой дымкой. И лежит степь спокойная, молчаливая. Временами только ветер степной, вольный и непостоянный, прошумит по

ковылю, поднимет тучу пыли с лысого кургана. Но заснет ветер, уляжется пыль и вновь тиха и молчалива необозримая равнина. Даже коршун будто заснул в вышине, раскинув по воздуху крылья.

Солнце палит.

Уж полдень давно...

Казаки и кони их сильно устали, истомленные зноем. Зной, казалось, всё возрастал, увеличивался и курился над степным горизонтом. Уж казаки стали досадливо ворчать, что до сих пор не попадается ни ручья, ни колодца, ни жительства, где бы можно было достать хоть глоток воды себе и коням.

— Лошадей зарежем, — басил Григорыч, — будь он проклят, анафема гололобый! Только бы попался своими руками задушу...

Он свирепо хмурил свои рыжие брови.

— А до Черной речки еще мотри-ка, далеко!

— Не даром бы проскакать, — вторил ему Палка: — и тех коней не нагоним, и этих замучим... Ишь, парит как!

— Кабы меня послушали, я бы посоветовал вернуться, — сказал и свое слово Неудобный. — Угонишься ли за ветром в поле?

Все они посматривали на Колодина.

— Ну, — сказал Колодин, — бабы вы, посмотрю я... Забыли, как на службе по 90 верст перегоны делали? Бывало, с лошади валишься, онемеешь весь, и лошадь под тобой хрипит... а всё скачешь... скачешь, словно в раскаленной печи, дышать нечем, задыхаешься. Думаешь, вот бы речка, свалиться бы в самую воду, окунуться бы, наглотаться бы... А тут вдруг вот она... рать! С визгом, с гиком скачет на тебя. И забудешь, что сто верст проскакал, про речку, про то, что не ел, не пил целый день, — всё забудешь... Пики на перевес, и сам орешь неведомо что, скачешь, ломишься, колешь, рубишь, стреляешь. Дым, пыль лезут в очи, в рот...

Ломишься куда-то... Свирепость на тебя нападет, и на лошадь тоже: кусается она, ржет... Раз, помню, сартенок на меня наскакал! Совсем молоденький... мальчик еще... Хорошенький такой, черноглазый... Лошадь его под ним упала, вскочил он. А я вот... поднял шашку, да сердце заныло, — жалко... А лошадь моя налетела... да как схватит его за щеку... рванет...

Колодин хлестнул лошадь и поскакал вперед, оборвав рассказ свой.

В этот момент Палка, привстав на седле, закричал:

— Озеро!

Но это было не озеро...

Глянув перед собой, казаки увидали громадное пространство воды, сверкающей под лучами солнца. Словно река разлилась там, выступив из низких берегов, затопила степь до самого горизонта и образовала тихие, безграничные затоны. В них солнце играло и переливалось, до боли слепя глаза, сверкающими отражениями.

Это был мираж, но иллюзия получалась полная...

Как будто ветерок даже потянул прохладой с этих несуществующих вод.

Казаки не могли оторвать глаз от степного волшебного чуда.

Но вот среди белых вод обозначились острова, темные фигуры неуклюжих верблюдов задвигались там и сям, как будто медленно вырастая из воды.

— Жительство! — радостно встрепенулись казаки.

И по мере того, как они скакали, среди водной шири вырастала киргизская джиламейка. Воды таяли, меняли очертания берегов своих, исчезали. Из них вырастали курганы, образовывались косы, острова...

И воды исчезли... Мираж пропал.

Теперь джиламейка была близко.

— Собачье жилье! — проворчал Григорыч. — Поглядим, что тут за житель объявился... Да смотри, братцы, в оба... Хитры эти гололобые псы!

Из джиламейки вышел пожилой низкорослый киргиз, босой, в грязной рубахе с расстегнутым воротом, из-за которого виднелась загорелая, словно медная грудь. Он быстро и приветливо закивал навстречу казакам скулистым лицом своим, черным от загара, с узенькими, быстрыми глазами и редкой, словно выдранной бороденкой.

— Здраст, здраст, русска чалак! — забормотал он, скаля белые зубы. — Арума, русска чалак...

— Арума, тамыр, — молвил Колодин.

Киргиз еще пуще затряс головой, приветливо улыбаясь, и стал каждому протягивать руку. Но глаза его в то же время пытливо и беспокойно перебегали по лицам казаков. А позади него, из-под полога джиламейки выглядывало смуглое девичье лицо, с черными, жгучими глазами, подозрительным взором волчонка наблюдавшими приезжих.

— Гуляй джиламейка, русска чалак! — приглашал киргиз. — Кумыз ашаем! Ай-й, хорош кумыз-з! Бикдзяксы кумыз-з!

Казаки вопросительно посмотрели на Колодина: им видимо хотелось отдохнуть в тенистой прохладе джиламейки.

Но Колодин сказал:

— Некогда, тамыр! Дай нам сюда по чашке кумыса, да лошадям принеси напиться. Торопимся.

Он однако же слез с коня и, разминая онемевшие члены, медленно осматривал джиламейку равнодушным взором.

Киргиз метнулся исполнять приказание.

Он быстро сказал что-то по киргизски девушке, и та, скрывшись в джиламейке, через минуту вынесла спешившимся казакам большой турсук с кумысом. Кир-

гиз тем временем доставал из ближнего колодца воду для коней.

— Красавица! — обратился Колодин к киргизке, наливавшей в деревянные чашки богатырский степной напиток, который казаки быстро и с наслаждением выпивали, — скажи-ка, куда проехал киргиз с лошадьми?

Девушка вскинула на него изподлобья подозрительный взор свой.

— Не сняй!.. — сказала она угрюмо, — урус-с-бильмяй![1].

Колодин повторил свой вопрос по-киргизски.

Но она всё повторяла:

— Не сняй...

Тогда Колодин закричал киргизу, приближавшемуся с ведром:

— Эй, тамыр хороший! Куда проехал киргиз с лошадьми?

Киргиз поставил на землю ярко выкрашенное зеленое ведро с водой и сделал удивленное лицо:

— Кыргыз? Нет кыргыз... Не видал кыргыз... Давно время не видал кыргыз. Здесь орда ходу нет... дорога нет... нет кыргыз!

— Не врешь? — насупился Колодин.

— Ты, слышь-ка! Как тебя звать? — забасил Григорыч. — Турсунбайка? Бухарбайка?

— Мин Курман! — сказал киргиз.

— Вот что, Курманка! Если, не дай Бог тебе, соврешь и покроешь вора, ж-живу не быть!

Он хрустнул пальцами, сжимая их в кулак.

— Слышишь?! Лучше говори на чистоту! Острог своим чередом, как скрутим да по начальству представим, а пока что...

Он сделал свирепое лицо:

— Ш-шкур-ру спустим!!!

Киргиз побледнел под слоем загара и глаза его ис-

[1] По-русски не знаю...

пуганно забегали. Он тоскливо метнулся перед своими гостями и принялся божиться и клясться, что не видал никакого киргиза.

— Зачем врать буду? — бормотал он. — Курман, брат, верный человек! Курману верь... Его все русский знают! Нет кыргыз... Не видал кыргыз!

Он метнулся к девушке.

— Наливай кумыз! Ашай кумыз, тамыр... Бик-дзяксы кумыз!

Он сам наливал в чашки напиток и протягивал его казакам.

Но руки его дрожали.

Казаки не знали, что думать.

— Врет пес или вправду не видал? — недоумевающе переглядывались они, принимаясь поить лошадей.

— И то сказать, — соображал Палка, — бывает, что вор от вора дубинку прячет. От своих скрывается.

— Ну, — сказал Григорыч, — а где бы он лошадей поить стал, если здесь ехал? Тоже соображает, что на поенных лошадях скорее ускачешь...

— Степь-то он лучше нашего знает. Где нам пустое место, а ему колодец!

— Так-то так...

Между тем Колодин, пока казаки поили лошадей и переговаривались, медленно отошел от становища. Зоркий взгляд его уже давно заметил какой-то черневший невдалеке предмет, привлекший к себе его внимание еще с самого приезда. Он не ожидал увидеть ничего особенного, кроме обрывка веревки или грязного лоскута от киргизской одежды. Им просто руководила степная привычка не упускать из виду никакой приметы. Но, нагнувшись и взяв предмет в руки, он почувствовал, как мутная волна злобы внезапно ударила ему в голову.

— Ах вор, укрыватель! — пробормотал он. — Чуть со следу не сбил!

И с необычайной для него быстротой он подошел

к киргизу и, протягивая к самому лицу его обрывок ременного недоуздка, крикнул:

— А это что?

Его и без того разгоряченное ездою лицо побагровело от приступа неудержимого гнева.

— Сказывай, вор несчастный! Откуда это?!

Он с нароставшей яростью потрясал недоуздком, при виде которого киргиз весь скорчился и растерянно затоптался на месте, а казаки возбужденно загалдели:

— Пес! Укрыватель!

— Нехрист поганый!

— Недоуздок-то знаю! — кричал Григорыч. — Микулина недоуздок-то! Сколько раз в руках держал!

— Как попал-то он сюда?

— Егорка вечером с табуна ездил в поселок да так с недоуздком мерина-то и пустил...

— Плакал, значит, Микулинский мерин!

— Связать его! — орал Палка. — По начальству представить... Может, самый вор-то он и есть...

— За одно... Все они воры!

— А-а... Ты воровать, вор-анафема!..

Григорыч подскочил к киргизу.

— Позволь, Иван Степанович! Я с собакой расправлюсь! Я-я ему покажу!!! Я заставлю его отвечать!.. Я-я развяжу ему язык! За-по-ет он у меня!!...

И он схватил киргиза за ворот рубахи.

— Говори, пес! Куда вор поехал?!

Но тут Колодин отстранил Григорыча, проговорив сквозь зубы:

— Пус-сти... Я сам!

И, размахнувшись, хотел ударить киргиза в лицо... Что-то мутное, горькое поднималось со дна души его, что он принимал за негодование на предательство. И это мутное застилало его сознание.

Киргиз упал на колени.

Он в ужасе старался избежать удара и кричал, показывая рукой на степь:

— Туда!.. Туда кыргыз! Ой, не бей Курман, русска чалак! Пожалста не бей! Туда гулял кыргыз!..

Это позднее признание не спасло бы, однако, киргиза от могучего удара.

Но в этот миг между ним и Колодиным с быстротой кошки бросилась киргизка и защитила отца, подставив свою грудь, украшенную звенящими монетами. Она стала быстро и гневно говорить что-то на непонятном языке своем. Черные, жгучие глаза ее выражали столь неистовую злобу, что Колодин смутился.

— Волчица! — пробормотал он.

И хотел отстранить ее рукой.

Но киргизка вскрикнула и внезапно острыми зубами вцепилась в руку Колодина так сильно и так больно, что он невольным, испуганным движением отбросил ее далеко от себя.

И вдруг ему стало совестно... Гнев угас... Словно пелена спала с глаз его.

— Братцы! — сказал он, растерянно взглянув на казаков: — что это мы... Разбойники, что ли? Со стариком да девченкой связались!

Он вскочил на седло.

— Едем!

— Как же так, — удивился Григорыч, — поучить бы пса надо! По начальству следует...

— Время терять нечего... Каждая минута дорога! Дело к вечеру... Показал дорогу и шабаш... Гайда! А девочка-то кака храбра, а? — взглянул он в сторону киргизки: — на защиту отца встала...

Повинуясь своему предводителю, казаки ворча вскочили на коней и быстрым летом помчали по степному простору. Колодин еще раз обернулся, отъехав уже значительно... Киргиза не видать было, должно быть,

уполз в джиламейку, а киргизка лежала всё на том же месте, куда отбросил ее Колодин, лежала, уронив голову на руки и как-будто пряча лицо свое в землю...

III

Странные мысли овладели Колодиным, новые мысли, каких он не знал дотоле... Что-то ныло в груди его, когда он поглядывал на укушенную руку и вспоминал злобное лицо киргизки, так храбро вставшей на защиту отца. Ему жаль было этой девочки, с которой он, — сильный казак, — так грубо расправился. Она такая же слабенькая и бессильная, как его собственная Анюта, он почувствовал это, когда толкнул ее и коснулся ее тела... Он даже представил себе Анюту на ее месте, и ему стало совсем нехорошо.

Забывшись, он произнес вслух:

— Как звери живем!

Казаки с удивлением обернули к нему свои потные, разгоряченные лица, но не успели спросить объяснения загадочных слов, потому что в этот момент Палка, отъехавший далеко вперед, остановил коня и закричал:

— Сюда, братцы!

Он рассматривал что-то, низко наклонясь к земле.

Время уже было к вечеру.

Солнце стало слегка краснее, заволакиваясь дымкой испарений: свет его сделался мягким, ласкающим. То место, где стоял Палка, было заброшено тенью, далеко бежавшей от плешивого кургана.

— Следы, что ли? — спрашивали подскакавшие казаки.

Палка молча указал на предмет, привлекший его внимание. Этот маленький, едва заметный предмет так затерялся среди ковыля, что только зоркий взгляд казака мог его увидеть.

— Цигарка! — вскричал Григорыч.

Он соскочил с коня, взял в руки свернутую трубочкой «цигарку» и, вертя ее, глубокомысленно рассуждал:

— Недавно курено... еще пепел по краям...

Понюхал.

— И пахнет. Не выдохлось... Близко, братцы! По настоящим следам едем. Тот-ли, другой-ли, а кто-нибудь недалеко.

— Гайда, вперед, ребятушки! — вытянулся в седле Палка, загоревшимся взором осматривая окрестности.

Поскакали прямо к бугру.

— Обогнуть надо!

— Нет, нет, — крикнул Палка, приходя всё более в хищное настроение, — заедем на курган. Оттуда, наверное, очень далеко видно.. Осмотримся.

— Зато и нас видно будет.

— Пусть! Чего скрываться! Если близко, всё равно не уйдет, а далеко — не догнать, если местности знать не будем... Скоро ночь...

— Правда.

— А гололобый близко! Уж у меня нюх, братцы, есть, — я чувствую...

Курган всё вырастал перед ними.

Вершина его, освещенная позади солнцем, казалась красной, а бока были покрыты там и сям, среди ковыля, солончаками. На почве, в этом месте мягкой, перед казаками явственно отпечатались следы нескольких лошадей.

— Недавно проехал, — сообщали вполголоса друг другу казаки свои соображения.

— Вокруг кургана обогнул... Как земля-то избита. И скакал же, должно быть...

— Вперед, головушки!

Близость встречи с врагом действовала на казаков возбуждающе. Они почти припали к гривам, побуждая коней усиливать бег, а кони в свою очередь заражались их настроением и летели птицей, тяжело дыша, потому

что приходилось подниматься в гору. Внезапно красный свет солнца ударил в глаза лошадям и людям, и тотчас же с вершины кургана перед ним развернулся необъятный степной горизонт, пропитанный розовыми и лиловыми тонами. Казалось, земля, раскаленная за день, занялась тихим пожаром, готовая вспыхнуть по всему небосклону, и прозрачный дымок испарений, проникнутый огненным отблеском, всё густел и багровел по мере того, как в него опускалось тускневшее и вырастaвшее в диске солнце. Курган крутым спуском обрывался в громадную котловину, словно берег безводного океана. Котловину эту, извиваясь, пересекала речка с обрывистыми берегами. Полузасохшая, поросшая шумящим тростником, она лепетала внизу кургана и, делая изгиб, уходила в степь, теряясь в низкорослом лесе.

— Смотри зорчей! — сказал Палка, привставая в стременах и высматривая степь из-под ладони, — либо здесь, либо нигде... Там за лесом начинается пропащая степь. Коли ушел туда — не найти его... Ночь. К тому же там ему во все стороны дорога, своя сторона, все балочки, все тропиночки знакомы и народ свой... скроют!

— Не в лесу ли схоронился? — пробасил Григорыч.

— Умен, так конечно!

— Надо лес осматривать. Если он там, лошади отзовутся, их молчать не заставишь.

— Лес-то, голова, не на версту тянется. Осмотрика его!

— Так-то так... Да как же быть-то? Не ночевать же тут на кургане, что-нибудь надо предпринимать. Я так понимаю, что если киргиз в эту сторону ударился и едем мы по правильным следам, то негде ему быть кроме как в лесу. Не успеть ему было в степь уехать.

Все взглянули при этих словах на Колодина, ожидая совета и решения от старого степного волка.

— Что присоветуешь, Иван Степаныч?

Колодин молча осматривал степь.

— Разделиться надо, — сказал он: — двоим справа и слева, вокруг леса ехать, двоим по лесу круг сделать, голос друг другу подавая. Если там киргиз, не миновать ему наших рук, куда бы не сунулся, — а если нет его там — пропадай, значит, наши лошади. В оборот пойдем... С Богом, ребятушки!

Он велел Палке ехать направо. Неудобному налево, а Григорычу с собой в лес.

Но едва казаки приготовились следовать распоряжениям своего предводителя, как до слуха их донеслось отдаленное лошадиное ржание. В тот же момент из небольшой рощицы вблизи кургана птицей вылетел всадник на степном скакуне и понесся к лесу.

— Киргиз!..

Он пригнулся к луке и, гикая, мчался, стараясь выгадать время, чтобы скрыться в спасительной чаще, пока казаки спустятся с кургана; должно быть, в тот момент, когда казаки показались на кургане, он уже собирался следовать дальше с добычей своей, но теперь, увидев так близко неминуемую опасность, бросил эту добычу — двух крепких низкорослых казачьих коней, и те помчали по степи с веселым ржаньем сначала за ним, а потом к казакам, быстро спускавшимся в котловину.

В казаках проснулись полинейные охотники.

Едва показался киргиз, не уговариваясь, не взглянув друг на друга, они пригнулись к лукам и помчали с кургана вниз с такою быстротой, что глинистая пыль пригорка заволокла их, а камни, вылетая из-под конских ног, скакали и прыгали по откосу, пока не достигали речки и не тонули с тихим плеском в ее прозрачных омутах и изгибах.

На перерез! — хрипло распорядился Колодин, когда достигли низины.

Тотчас Палка стал забирать вправо, а Неудобный

влево, предполагая обогнать киргиза и перегородить ему дорогу в лес.

Колодин мчался прямо.

Он всё забыл в это время: мир превратился для него в убегающую фигуру всадника.

Привставая на стременах, он думал с тоской: «Уйдет, собака», и хрипло кричал:

— Влево забирай!.. Влево, ребятушки!.. Григорыч!!... На перерез!!.

Григорыч знал свое дело.

Он птицей мчался, согнувшись, неестественно вытянув шею, смотря на убегающего врага почти круглыми, хищными глазами, и в то же время держал наготове винтовку, выжидая удобного момента, чтобы послать вслед ему свою завороженную пулю.

А солнце стало совсем багровым и словно кровью обливало картину отчаянной погони. Вверху с любопытством кружился копчик, трепеща крыльями, а напуганный невиданной картиной барсук то становился на задния лапки у своего жилища, то быстро и торопливо прятался, вновь выбегал и удивленно свистел...

IV

Киргиз уходил.

Его привычный степной скакун, чуя опасность, почти не касался земли ногами, в безумном беге вытянув шею, раздувая ноздри и смотря вперед налитыми кровью глазами.

Еще немного!..

Вот только речка отделяет его от спасительной чащи. Еще одно последнее усилие! Киргиз совсем пригнулся к шее лошади, приготовляясь к прыжку в прохладные речные воды.

Но глинистый берег в этом месте был обрывист, высок и крут. Конь испуганно остановился на самом краю обрыва, не решаясь сделать прыжок и крепко упираясь дрожащими ногами.

А справа уже мчит с криком и гиканьем фантастически-сухая фигура Палки, слева Неудобный ломится через кусты.

Позади — настигают!

Киргиз слышит хриплый крик чьей-то могучей груди:

— Забегай... Забегай, ребятушки!.. Живьем бери!

Последним отчаянным усилием киргиз натянул повода так, что кровь и пена показались на губах лошади. В то же время он хлестнул нагайкой...

Лошадь взвилась на дыбы и как будто заплясала в багровом отблеске заходящего солнца.

Тр-р-ра-ра-х... ахх!! — грохнуло, заахало, загудело в тот же миг по степи...

Это, привстав на седле, выстрелил Григорыч.

Он дождался своего момента.

Степной скакун подпрыгнул, метнулся и вместе с седоком своим исчез в речном овраге. Подскакавшие тут же казаки видели, как в три скачка скакун взметнулся на берег по ту сторону речки, весь мокрый, дрожащий, и исчез в лесу.

Киргиза на нем не было.

С недоумением Палка и Неудобный осматривали берег и наблюдали, как бьется вода в широком речном плесе, колебля сухие тростники. Непривычные лошади их боязливо сторонились от обрыва, хотя и вытягивали шеи, вдыхая разгоряченными ноздрями соблазнительную водяную свежесть. Одного взгляда было достаточно казакам, чтобы увидеть, что берег на далекое расстояние был крут и не виднелось нигде откоса или тропинки, где бы можно было спуститься вниз верхом.

— Вот так оказия. Где же киргиз-то? — взглянули друг на друга казаки.

— В лес ушел? — соображал Палка.

— В лес не мог уйти! Берег отсюда как на ладони... Мы бы видели.

— А кустами?

— Не успел бы... Не заяц! Под бугром смотреть надо... Притаился где-нибудь.

— Негде... Отсюда видать!

— Утоп?!

И казаки опять посмотрели друг на друга, соображая.

— Должно быть, Григорыч-то того...

В этот момент мимо их стрелой пролетел Колодин и, припав к луке, так отчаянно застонал и загикал, что лошадь его, не задумываясь, бешено бросилась в пропасть, пригнув уши и вытянувшись, врезалась в глубокие воды речного омута и через секунду, испуганная и мокрая, была уже на том берегу.

— Окружить лес! — крикнул Колодин, на миг обернув к казакам свое багровое лицо: — Что вы, черрти, встали!! Марш!

— Нет киргиза-то в лесу! — в один голос прокричали казаки: — Ива-ан Степаныч!..

Но Колодин, не видавший, что лошадь ушла в лес одна, не слушая возгласов своих товарищей, уже углубился в чащу, полный пыла преследования.

Григорыч остановился на берегу вместе с Палкой и Неудобным.

— Убил я его! — сказал он уверенно, не допускающим возражения тоном.

— Убил ли? — усомнился Палка.

— Завороженная пуля-то! Нечего и гнаться, далеко не ускачет... По следам найдем...

— Лошадь-то одна ушла...

— Одна-а?..

— Мы видали.

— Свалился... Наповал, стало быть... Надо под бугром смотреть.

— Смотрели... Тут как на ладони... Не видать.

Григорыч насупиил свои рыжие брови.

— Утоп, стало быть...

— Утоп ли? Убит ли? — усомнился Палка: — а ну, как уйдет?

— В кустах надо шарить, — предложил Неудобный: — стреножим коней, да спустимся к речке. Не уполз ли? Народ они хитрый, гололобые...

— Нет, — сказал Палка, — окружим-ка лучше лес, как Колодин велел. Ты, Неудобный, марш направо, а я налево поеду... Обшарить-то успеем. Далеко не уползет. Так надежнее будет...

— А я здесь пошарю! — сказал Григорыч.

И слез с коня.

Когда казаки разъехались, Григорыч стреножил лошадь и спустился под кручу. Там он долго ходил по топкому берегу реки, напрасно стараясь найти какие-нибудь следы. Казалось, в этом пустынном месте не бывал никогда ни человек, ни зверь. Только с противоположной стороны берег был взмешан недавними следами лошадей и поломан был сухой тростник. Но напрасно Григорыч приглядывался зорким взглядом своим к густо разросшемуся по опушке тальнику, нагибавшему почти к самой воде зеленые ветви.

Тихо шепчет тальник...

Не выдает своей тайны.

Вдруг Григорыч заметил около берега странный круглый предмет, напоминающий арбузную горбушку.

Он тихо колыхался на волнах.

Григорыч сломил ветку и притянул предмет к себе...

Это была старая, пропахшая потом тюбитейка.

Григорыч перестал сомневаться.

— Утоп! — пробормотал он.

И, выбравшись на кручу, лег на берег и стал жад-

ным взором приглядываться к успокоившимся, тихожурчащим водам речного омута.

— Хоть бы глазом глянуть: — бормотал он, ни мало не сомневаясь в чудодейственности завороженной пули: — старуха говорила, что такая пуля в лоб идет и насквозь проходит... Две дыры, стало быть!

Между тем Колодин въехал в чащу леса.

Накопившимся за день теплом пахнуло в лицо его и обдало ароматом лесных цветов. Лошадь, разгоряченная погоней, хрипя рвалась через кусты, густо разросшиеся здесь на полной воле и перепутанные побегами хмеля. Но вскоре ей пришлось остановиться, потому что кустарник чем дальше — становился гуще, а тонкостволые деревья так близко стояли друг к другу, словно боялись своего одиночества в степи и старались взаимно подойти, прижаться, слиться в одну дружную, темнозеленую семью.

Колодин с досадой выругался, слез и стал прислушиваться, в тоже время соображая, что делать.

Лес таинственно и глухо шумел от ветерка, нежно пробегавшего по его вершине. Где-то кукушка прокричала два раза, словно прощаясь с потухающим солнцем. Галки вились сверху и отчаянно кричали, целыми тучами возвращаясь на ночлег с неведомых экскурсий.

— Ушел! — мелькнуло в голове Колодина.

И он почувствовал досаду охотника, упустившего крупную дичь.

Но в тот же миг он услыхал вблизи продолжительные и хрипящие лошадиные вздохи, еле слышные и непостоянные.

Дух охотника снова проснулся в нем, дух диких и воинственных предков, замирявших степь. Сердце его заколотилось, а глаза так и впились в таинственную чащу, всю проникнутую багровым блеском зари. Привязавши лошадь к стволу молодого вяза и взявши вин-

товку на перевес, бесшумно стал красться он, то припадая к самой земле и замирая при каждом подозрительном звуке, то вновь ныряя меж кустов, стараясь не задевать их, искусно скользя между ними.

Совсем близко раздался тяжелый лошадиный вздох.

Еще шаг...

На маленькой, лесной прогалине, в густой траве, лежала, вытянув голову, лошадь и вздыхала через долгие промежутки. На шее ее зияла рана, из которой ручьем хлестала кровь — это делала свое дело заговоренная пуля. Тут же, опершись о дерево и согнувшись, внимательно смотрел куда-то вдаль киргиз, с обнаженной головой, совершенно мокрый от недавнего купанья. Колодин посмотрел: сквозь естественную небольшую просеку отсюда виден был берег реки. Киргиз следил за движениями врагов, не подозревая, что враг находится так близко.

Колодин поднял винтовку.

— Сдайся!!

Киргиз вздрогнул, обернулся и откинулся к дереву. Лицо его изобразило безумный ужас, маленькие, косые глаза забегали и неподвижно остановились на блестящем дуле. Рука инстинктивно выхватила из-за пояса нож, но бессильно с ним опустилась.

— Брось нож... убью!! — с сосредоточенной злобой повторил Колодин.

Губы киргиза дрожали.

Он не отрывал глаз от дула, и Колодин слышал, как он шептал:

— Алла!!.. Алла!!..

Колодин метил в лицо и чувствовал, что какая-то сила, подобная той, которая побуждает человека, смотрящего в пропасть, упасть в ее бездонную глубь, влечет его нажать собачку.

Миг... и нет киргиза!

Он упадет, обливаясь кровью, как падали его предки, и Колодин будет с любопытной злобой смотреть на дымящуюся рану во лбу его, говоря сквозь зубы:

— Ульган, с-со-бака!..

В этот трагический миг он забыл всё... земля и небо не существовали для него. Забыл, что это не враг на поле битвы, что это вор, которого надо схватить живым и представить по начальству. Это уже не был Колодин, склонившийся над книгой. Это был волк, выследивший другого волка. Он был полон одной только жаждой.

— Убить!..

Кровь стучала в виски его. Палец дрожал над собачкой, взор мутился...

Миг...

Но в этот миг словно тень таинственная заслонила искаженное ужасом лицо киргиза — и перед Колодиным как в тумане возникло другое лицо, красивое в своей дикой злобе, с мрачно сверкающими очами, лицо киргизки, заслонившей слабой девичьей грудью отца. И так же, как тогда, лицо киргизки напомнило ему лицо Анюты и сменилось им. Анютино лицо, дорогое и милое ему, с робкой детской улыбкой, дрожало и колебалось в вечернем сумраке между дулом винтовки и киргизом. В напоенном ароматами воздухе будто зазвучали даже тихие слова, доносившиеся, как шопот ветерка, Бог весть, из какого-то «далека»:

— Папа... Что ты делаешь! Папа!..

Луч света загорелся в мозгу Колодина.

Что-то всколыхнулось в груди его, еще невыразимое словами, теплой струей хлынуло из сердца. Все его недавние мысли не словами, а образами встали перед ним, и он увидал в себе зверя. И уличенный зверь этот тотчас спрятал голову. Собственная злоба стала непонятна Колодину.

Он медленно опустил винтовку.

— Брось нож... Сдайся! — повторил он сурово.

Киргиз отбросил нож.

Колодин стал развязывать ремень с себя и медленно подходить к киргизу. Тот стоял, не говоря ни слова, покорившись ожидавшей его участи. И что бы он стал говорить или делать? Он проиграл свою воровскую ставку и должен расплачиваться. О борьбе же с гигантом он, тщедушный, малорослый, и не помышлял.

Колодин связал ему руки.

— Попался, брат? — сказал он.

И вдруг засмеялся мягким смехом.

— Катын бар[2], тамыр?

— Бар! — отвечал киргиз одними губами.

— И детишки есть?

Вдруг, положив на плечо ему свою могучую руку, Колодин заговорил по-киргизски:

— Послушай, тамыр... зачем воруешь? Вера наша разная, — а Бог один. И грех это... Слышишь?

Киргиз удивленно посмотрел на него.

— Нужда!.. — сказал он: — ясак платить надо, хлеб жевать надо... Жить надо! Туда-сюда давать надо... Судья воровать не ходит... Бухарбай ходит! Бухарбай бедный человек...

— Ну, сказал Колодин, — Бог с тобой... Не судья тебе я! Сгноят тебя в остроге. А ведь все мы грешники. Бухарбай! Побожись мне, что не будешь больше воровать... Слышишь, Бухарбай. Дай обещанье...

Бухарбай не понимал в чем дело, однако провел ладонями по лицу и сказал:

— Алла!

Колодин сдернул ремень с рук киргиза.

— Сиди и не шевелись. Понял? А когда уедем, — айда на все четыре стороны!

Киргиз не понимал.

---

[2] Женат?

Широко открытыми, удивленными глазами смотрел он на Колодина.

Колодин тихо засмеялся и пошел прочь.

На лес ложились уже тени ночи.

Колодин слышал, как вздохнула последний раз лошадь предсмертным вздохом. Обернувшись еще раз, он увидел киргиза всё на том же месте.

Вскоре Колодин, сделав большой крюк в поисках брода, подъезжал к казакам, подзывавших его криками с берега.

— Ничего нет? — спрашивали они.

— Ничего нет!

— Пропал, значит, пес! — пробасил Григорыч, — а лошадь?

— Подохла лошадь... Шею ты ей пробил.

— Жаль... Пригодилась бы!

И он в раздумье спрашивал:

— Как ты полагаешь, Иван Степаныч, утоп, стало-быть, пес?

Колодин вместо ответа тихо засмеялся.

Вскоре, заарканив лошадей, они ехали молчаливой, уснувшей степью, при бледном свете зари, решив сделать привал на полпути к дому. Григорыч басовито повествовал Палке и Неудобному о достоинствах завороженной пули и о том, как от нее никто не может уйти, — ни человек, ни зверь, ни птица. Колодин отъехал далеко вперед и отдался во власть охвативших его дум и чувств. Ему казалось, что какая-то новая жизнь, дотоле ему неведомая, открылась перед ним...

ОГЛАВЛЕНИЕ

RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
317

Цена: $2.25

